Mapa
Nº 1

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВКП(б) „ПРАВДА“
СЕКТОР „КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА“

Вокруг Света

Выходит 2 раза в месяц

Большевики делают новую географию, строят реки, каналы, озера, осушают бесплодные болота, орошают пустыни. Камско-Печорский и Волго-Донской водные пути соединят Черное море с Северным ледовитым морем. В далекой Сибири зажгутся огни Ангары, превышающей по мощности Днепрострой в двадцать раз. **„ВОКРУГ СВЕТА“** расскажет на своих страницах о новых стройках, о новых заводах, электростанциях, о борьбе советских пролетариев и советских ученых с засухой, песками, об освоении солнечной энергии и ветра.

В Таджикистане, в Казакстане, в Дагестане, в Карелии, в Якутии, на далеких окраинах идет стройка. Молодежь окраин включилась в трудную борьбу за новый советский быт, за новые формы жизни на наших окраинах. **„ВОКРУГ СВЕТА“** расскажет об этой героической борьбе, расскажет о людях, которые ее ведут.

О гражданской войне расскажут на страницах **„ВОКРУГ СВЕТА“** ее участники, ее герои в своих воспоминаниях.

Под Москвой уголь, под Ленинградом торф, под Курском железо. Каждая республика, каждая область хранит в своих недрах неисчислимые запасы полезных ископаемых. Мы должны их разведать и добыть. Мы должны изучать свой край. Молодежь, комсомольцы должны быть передовым отрядом разведчиков-краеведов.

В Институте народов севера учится больше ста молодых чукчей, тунгусов, юкагир. Они пришли из тайги, от далекого Берингова моря, от прибрежий холодного океана. Они пришли в Ленинград за тысячи километров. Они расскажут на страницах журнала **„ВОКРУГ СВЕТА“** о работе Советов за полярным кругом.

Комсомольская экспедиция в Гренландию отправляется в 1932 году. Комсомол включается в поход за освоение Арктики. **„ВОКРУГ СВЕТА“** уделяет большое внимание научно-исследовательской работе советских и зарубежных ученых, дает большой материал об экспедициях, путешествиях и открытиях.

О второй пятилетке, о каменном угле, железе, золоте, меди, нефелине, скрытых в горах и долинах нашей страны, о странах совсем нам неизвестных, о далеких колониях, о борьбе и жизни зарубежного комсомола —

обо всем этом расскажет своему читателю в занимательной и интересной форме

„ВОКРУГ СВЕТА“, журнал революционной романтики, краеведения, экспедиций, путешествий и научных открытий.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 12 мес. — 4 руб. 50 коп., на 6 мес. — 2 руб. 25 коп., на 3 мес. — 1 руб. 15 коп. Цена отдельного номера — 20 к.

Подписка принимается всеми организаторами подписки на заводах и фабриках, во всех почтовых отделениях, письмоносцами, ячейковыми работниками по комсомольской печати и уполномоченными „Комсомольской правды“

Борьба Миров

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Ленинград, проспект 25 Октября, д. 3.

№ 1

ЯНВАРЬ 1932 г.

Выходит 1 раз в месяц

ИЗДАНИЕ
„КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ“

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Стр.

Н Антонов
В. М. 103 — 2

Мих. Лоскутов
Ферганское кольцо — 12

С. Маевич
Акционерное общество „Блау-Рейн“ — 20

Р. Тургейрсон
Забастовка на цинковом заводе — 29

Д. Лебедев
Смерть Гедриса — 33

В. Дружинин
Прыжок профессора Строгова — 38

Виктор Виткович
Карабалта — 50

УЗНИКИ СКОТТСБОРО — 53

А. Владимиров
Фитиль зажжен — 55

Обложка работы художника
В. СВЕШНИКОВА

В. М. 103

Н. АНТОНОВ

I

У проходной Илья бросил папиросу. Окурок, шипя, погас в лужице.

— Пришел? — молвил коротконогий человек, встретив сменщика.

— Пришел...

В огромные окна упорная и сырая лезла ночь. Но тут было сухо и, пожалуй, уютно. Обойдя приборы, Илья сел. Сегодня не о чем было думать. Вчера он думал о Семове. Позавчера он посвятил Гошке и Бессу. Два дня назад он вспоминал Нюшку Разумную и медленный ее голос. Так перебрал он в памяти все свое немалое семейство. Над чем хлопочут они сейчас? Какое очередное событие произошло с Сергеем? Как удается поточная сборка? И удается ли вообще? Чем увенчалась борьба за нового мастера?..

Илья встал... Он даже передернул слегка плечами — привычка передергивать плечами, что-то решив, жила в нем давно. Да, он решил. Вот сейчас он зайдет к Гошке или к Юдину.

— Глупо все, — молвил Илья.

Город предстал вдруг перед его глазами. Город шумел подобно жести под дождем — ровным, многоголосым гулом. Илья шел по тому городу — по широкому его тротуару. Стояло лето, и асфальт дымился под ногами пылью. Ревели гудки тяжелых грузовых машин, город набухал ощутимо черной, густой кровью, кровь бурлила в артериях, — шли рабочие... Илья шел с ними. Он помнил даже запахи того вечера — теплый запах асфальта и полынную горечь, неизвестно откуда взявшуюся...

Это была грозная сила и она несла Илью с собой. Была радость, похожая на радость пловца, через голову которого перекатываются зеленые волны, крепкого пловца с хорошими легкими и тренированными мускулами. Была радость сильного животного, выпущенного на заре...

В этот день лопались ракеты, искры взрезали тьму, штопорами мчались на землю шары.

Илья был со всеми.

Маленький мальчишка умолял подсадить его на тумбу. И ему Илья заглянул в глаза. В глазах у мальчика поселилось любопытство и удовольствие зверка.

В тот день был праздник...

Илья пел со всеми. Он забыл, что петь не умеет... Он нес чье-то знамя или плакат. Потом оказалось, что это был откомхоз. Илья присоединился к другим. Другие несли чучело, и Илья спросил у них:

— Это ваше чучело?

— Да! — ответили ему, — наше...

— Хорошее чучело, — восхитился Илья, — прекрасное чучело!..

Били барабаны пионеров — тоненькие, задорные барабаны; они, казалось, шли без людей, сами переступая коричневыми от загара ногами.

— Барабаны! — крикнул Илья, — барабаны! — И он пошел вперед по кафелям. Но тут вспомнил, что праздник был год тому назад, и что сейчас он, Илья, на работе... Кроме того он вспомнил, что от города его, Илью, отделяет в настоящее время расстояние в две тысячи километров и что к Семову он не пойдет ни в коем случае.

И тут Илья опять вспомнил, как стоял он в тамбуре и смотрел вниз на бегущие шпалы, вспомнил туннели, сквозь которые несся поезд, особые дорожные ветры с песком и запахом горячей краски, угля и мазута и, главное, вспомнил расставание.

Они работали вместе, одной бригадой на сборке маслянников и среди них был Илья Бояринов, монтер. Жили дружно и работали тоже дружно. Однажды в цехе появился длинный парень в кургузой курточке и в рыжих галифэ, — парень тот странно представился

Семкой Семовым и повел речь о кадрах. Речь его походила на передовицу из районной газеты, и много процентов речи состояло из цитат.

Произнеся речь и подтянув голенище сапога, Семка Семов подмигнул Илье, потрогал пальцем пустячную щепку и исчез. Речь его быстро из головы у ребят выветрилась, и сам он, нескладный и бедный, забылся всеми, как забывается мелкое уличное происшествие. Но через небольшое время Семов вновь появился, дернул работавшего Илью за рукав, скривил мерзкую рожу и осведомился:

— Надумал?

— А чего надумывать? — спросил пренаивно Бояринов. Семенов засмеялся, показывая маломощные зубы...

— Чудак... В техникум же.

— Ну там, в техникум... — нахмурился Илья.

Наступило молчание. Трещало сверло где-то поблизости и скрежетал срывающийся у Ильи ключ. Семов все стоял сзади.

— Шли бы вы, — посоветовал Илья, — шли бы лучше, чем над душой потеть!

— Ничего, постою...

Через день Семов опять пришел и опять дернул Илью за рукав.

— Я тебя между глаз ключом стукну, — предостерег Илья. — Сыпься, покуда цел!

— Ишь какой! — удивился Семен.

— Вот тебе и какой! Работать мешаешь. У меня и так хвосты.

— Много.?

— Хватит.

Наконец к Семену привыкли, как к зубной боли.

— Идет, — говорили ребята.

— Длинный, дьявол!

Он все ходил, щурился, посмеивался и зевал как раз тогда, когда этого делать не следовало. Потом оказалось, что он — студент политехникума и толк знает во многом. Весною он перешёл в наступление.

— Поступай!

— Не хочу, — отбивался Илья. — Способностей нету. Больной я.

— Вылечат.

— Чего ты ко мне пристал?

— Больше не к кому.

Так перепалка ничем и не кончилась. Но Семен не отставал и, глядя раз Илье в глаза, сказал тихо:

— Поступай, дурила... Не бойся... отглаженных нет...

— Что? — не понял Бояринов.

— Вот что: боишься ты — как, мол, с грязными руками. А я говорю — не бойся, — понимаешь? Я тоже с завода пришел, сморкался в угол. Меня батька кирпичом бил — от пьянства голову ломал. „Куда, кричал, сволочь, лезешь!“ Только я полез. И вылез.

Илья молчал, сдувая пепел с папиросы и опустив глаза. Хилый же Семен совсем вышел из себя.

— Пойдешь?

— Пойду.

Семов сразу весь обмяк и потух. Маленькое лицо его приняло отсутствующее выражение, он зевнул несколько раз под ряд.

— Ну, иди, — сказал он, — иди. Это ты хорошо придумал. Весело. Нужно тебе научиться, — понял?

— Понял! — молвил Илья.

Он действительно понял это, но не из плоховьких и скученьких слов Семена. Он понял это, вглядываясь в Семеново непримечательное с первого раза лицо, в горячие его глаза, слушая самую манеру его речи — такой тусклой и заурядной речи. Он понял это, глядя в Семена, в нутро его, в нутро человека, у которого „нужно“ довлеет над „нельзя“.

За короткую эту беседу Илья проникся к Семену уважением большим, чем за все их знакомство. Он оценил вдруг Семенову холодную напористость, усмешечку и понял вне запно всю Семенову нехитрую тактику.

Так они сдружились.

Потом пошли годы студенчества, всяких зачетов, шефств, смычек, лабораторий, годы овладения знанием, годы боев с упрямыми книгами, годы вгрызания в науку, — эти годы скакали так, что прошлый путался с позапрошлым и шумело в голове.

— Чорт те что! — говаривал тогда Бояринов.

Семен же Семов снял с себя желтые галифэ и кургузую курточку и оделся во все новое. Даже носки на нем были в большую клетку. Но так же ездил Семен по заводам и так же обрабатывал ребят, с тою лишь разницей, что теперь к нему присоединились десятки всяких Бояриновых. И были эти Бояриновы в крепком знании своих задач, заводили и действовали организованнее, через коллективы, завкомы и всякие комиссии.

— Какая вас холера носит? — спрашивали Бояриновых запыхавшиеся завкомщики. — Своих дел мало?

Но Бояриновы были упорны и злы тем упорством и злостью, которые, соединившись, рушат горы. Бояриновы организовали курсы, преподавали на курсах, вербовали в них рабочую молодежь, ручались из-за стипендий и общежитий, толкались, кричали, ездили по обкомам, райкомам, добирались до центра и там дебоширили. Бояриновы сами пропускали лекции и одалживали на ночь чужие записки, но запал у них не выветривался.

Илья был не один и Семов тоже. Сотни кончали курсы, сотни шли в высшие учебные заведения, и попрежнему Семов кричал:

— Ты — партиец? Сволочь, иди, учись!

Однажды, случайно разложив перед собой один чертеж вместо другого, он нашел в нем странную ошибку. Ошибка была сделана в расчете вала и передаточного механизма. Семен унес чертеж домой и дома расположился на полу. К ночи он снял копию с чертежа и к ночи же вычислил путем изумительных выкладок последствия этой ошибки. Машина обречена была на взрыв — миллиметр, один только миллиметр грозил гибелью нескольким людям. В злобной тоске бегал всю ночь Семов по комнате, грыз карандаш зубами и вновь считал. Наутро он был в коллективе и вел там разговор. Были крики, и отсекр остервенело звонил по телефону. В конструкторском попрежнему инженеры покуривали, легко и приятно шутили, острили так, как не мог острить Семен, по бедности своего языка и по незнанию стиля острот. Инженеры острили, Семен же смотрел в спину человека, который сотворил заведомо неправильный чертеж. Человек был скромен деловит. На его столе лежали папиросы

в раскрытом портсигаре, на его носу сидело пенсне с черным шнурочком, и пахло от этого человека чистым бельем и уютом. Семен щурился и долго не мог развернуть кальку. Пальцы не слушались.

— Послушайте, — сказал он вдруг, — послушайте, вы, Иван Иванович!

Человека звали не Иваном Ивановичем, а Виктором Васильевичем, но все же он обернулся. Обернулись и все прочие, предчувствуя очередную стычку. Семен дернул кальку — она разорвалась. Комкая клочья, Семен стоял, молча и злобно глядя поверх голов, на стену.

— Вентилятор закрыть нужно, — выдавил он, — шумит очень...

Инженер вспылил и вытянул шею. Пенсне свалилось, и инженер отступил. Такая нестерпимая ненависть пылала в глазах у Семена, даже не в глазах, а во всем его теле, так напрягались его скулы и так сини были губы, что инженер не выдержал и извинился. Но Семен уже исчез. Он бежал по двору, куда-то в самый дальний угол, за бревна. Там он остановился, тяжело дыша. Пахло коксом, стружкой. Семен сел и вытащил папиросы. Но из-за досок показался милиционер и, сурово покосившись на папиросы, молвил:

— Во дворе курить воспрещается! А еще инженер!

Обуреваемый диким каким-то чувством, Семен рванулся к милиционеру и, схватив его за борт шинели, жарко спросил:

— Брательник, партийный?

— Ну и что? — удивился милиционер.

— Учись, — взревел Семен, — учись, мы тут такое наворочаем... Понял? Тут у нас четыре цеха будут новых, на допухах этих...

И Семен побежал по двору, весь вихляющийся и развинченный. Полы пиджака развевались и ветер трепал волосы.

Милиционер потрогал борт шинели. Он ничего не понимал, этот коренастый туляк с чистым лицом и носом пуговицей, но ему было тепло и ладно, как после бани.

Ночь шла медленно. Илья ходил, проверял приборы, прислушивался к гулу машин. Все обстояло благополучно.

Там, за стеклами центрального зала станции, спал город, средненький, грязненький, с клопами. За городом же гудел завод, и для этого завода в ночные часы работала станция...

Илья стоял у окна. В белых лужицах света плавали листовое железо, сторож в кудлатых овчинах и древний паровичок. Паровичок кашлял трудно, как тяжело больной, и колеса его едва вертелись.

— Дрянь, — молвил Илья, — дрянь чортова!

Ему вдруг больше стало от нищего завода, от всех латочек, сопений, попыхиваний, от проклятой маломощности и какой-то ночной неразберихи. Подумав, он вышел. Садился на землю рассвет с сыростью и мзгою пополам. Совсем уж глупо закричал на заводской территории хриплый петух. В тишине попыхивал паровичок. Илья посмотрел на него и помахал рукой...

— Дурак! — хотелось сказать ему, но вместо этого он сказал: — Занятно!

Действительно было занятно: маломощный, залатанный, ржавый и древний паровичок обладал несметным упорством; не имея сил сдвинуть три вагончика сразу, он таскал их по одиночке, но и это давалось паровичку с трудом. Мохнатый парень в странной шапке, очевидно помощник машиниста либо просто дворник, шел рядом с движущимся вагончиком, скучливо положив руку на выпирающее бревно. Паровик лез на горку, и колеса его скрежетали. Как только паровику становилось не под силу и он тормозил, парень с удивительным проворством подкладывал под колесо вагона железный брусок и пискливо кричал:

— А-та-туй ще-е, Мих-айло!

Комсомолец Сучков — бригадир масляных выключателей Б. М.—125

Михайла же, высунув потную и черную рожу из окошка, отвечал, сверкая зубами:

— Погляди, льет вза-аду?

Парень отвечал, что льет; машинист скрывался, давал гудок для подкрепления своих и помощниковых сил, и паровик, дребезжа, двигался дальше.

Илья стоял долго, и раздражение его улетучивалось.

— Не важно, — не то бормотал, не то думал он: — неважно. Эти черти сделают... все сделают. Даже паровик этот заставили они работать.

И тут Илья засмеялся, закурил, пустил носом две струи дыма и повернул на станцию...

Солнце зверело в борьба с туманом. Туман сдавался. И бронзовые иглы уже плавили стекла, когда Илья Бояринов вошел в главный зал.

— С добрым утром, — сказал он, — с добрым утром, товарищи. День обещает быть хорошим. Выключай, Терещенко. Без четверти ровно.

Терещенко повернулся к щиту, а Илья скрылся в коридоре, по бокам которого находились кабины с маслянниками. Но тут что-то произошло. Нестерпимый грохот разорвал воздух, тонкий и острый звук сменил его.

Илья крикнул. Сизое пламя плясало перед его глазами. Крик перешел в вой. Кто-то тянул Илью за руку...

— Не надо! — прохрипел он, — пусти!

Сизое пламя росло...

Пахло горелой тряпкой.

Санитар потянул носом и сказал:

— Тряпка!

Через секунду санитар споткнулся и услышал тихое человеческое бормотание. Пожалев человека, санитар положил на носилки вместе с ним оторванную его руку. Рука была мягка, еще тепла и отвратительно пахла горелым мясом. На носилках человек перестал бормотать. Мозг его яснел, и весь он как бы приобрел прозрачность. Рука лежала рядом. Санитары обсуждали событие будничными и тихими словами. В больнице человека пронесли прямо в операционную. Все кругом было наполнено хрустом и легким звоном. Врач мыл руки.

Да, да, он отлично все помнит: он читал статью о ванадиевых рудах в журнале, статья его заинтересовала, потом он пошел обедать, заглянул в клуб, а к двенадцати сменил Топовского на станции. Все шло отлично, он думал, вспоминал, было очень легко и очень спокойно.

Сборка масляных выключателей В. М.—103

Подошла сиделка и поправила сползающее одеяло.

— К чорту!—закричал Илья.—Оставьте меня в покое! У меня уши болят.

Сиделка слабо улыбнулась и по-матерински пригладила Илье волосы на висках. Он схватил ее руку.

— Спокойненько, — опять улыбнулась она, — спокойненько... Вам покушать надо, вот кисель.

Илья согласился.

— Что случилось? — спросил он, не доев и отводя руку сиделки с ложкой, — какая это больница?

— Городская!

— Вот, городская!—рассердился Илья. — Не все ли равно? Что случилось?

— Ногу вам оторвало и руку...

— Как?

— Взорвалось у вас, говорят, на станции что-то и зашибло. Шуму, правда, много было.

— А убитых?

— Не знаю уж.

— Врете, — не поверил Илья, — у меня не отвертитесь. И потом что взорвалось?

— Штепсель какой-то, — ответила сиделка сонно и поправила волосы. — Спите, чего там. Волноваться вам нельзя.

Илья закивал головой.

— Теперь я понимаю, понимаю... Дайте мне пить... Совсем руку отрезали? — испугался он вдруг: — совсем? Как же я чертить буду? Это меня не устраивает. Понимаете, куда же я без руки?

Ночью он бредил и плакал, укоряя кого-то. Большая тень шла на него, и от этой тени и от ломоты во всем теле было страшно и непонятно.

2

Заворг райкома ткнул спичку в чернильницу и закричал, не подымая глаз:

— Товарищ дорогой, вали ты к свиньям в самом деле, голова у меня лопается, двадцать дел провернуть надо, зайди другим разом...

— У меня автомобиля нет, — ответил Илья трудно, — а ходить...

Заворг поднял голову.

— Бояринов,—спросил он,—или не Бояринов? Где же...

Илья поморщился.

— Будет вам: калечка и калечка, чего, в самом деле! Нужда у меня к тебе.

Заворг сморкался в большой платок и находил видимо в этом занятии удовольствие, так нехотя прервал его.

— Да ты садись! — сказал он.

Илья сел. Пальцы единственной руки его ровно дрожали.

— Дело вот какого порядка...

Заворг слушал рассеянно. Он думал о смете, которую не утвердили, и злобился.

— Сейчас я мало куда годен, — говорил Илья,—определенную работу по специальности мне нести трудно, быстро устаю. Следовательно, логически рассуждая, надо сидеть смиренько.

— Ну и сиди, — чуть не буркнул заворг, но во-время спохватился. Рука Ильи прыгала перед глазами заворга. „Мученики!—ругался он про себя:—каждый недотепа страдальческую морду делает".

Был заворг неплохим парнем, не лишенным чуткости, и хорошим работником, но болел некоей манией. Мания эта проявлялась в том, что заворг терпеть не мог невеселых людей и сам

всегда старался остроумничать и смешить других какими угодно способами. Он считал, что комсомольскому работнику надлежит никогда не грустить и не унывать.

Поэтому даже в состоянии раздражения заворг острил и улыбался.

— Ну, вот, — сказал он, выслушав Илью. — Ну вот, нюни какие распустил. Это, брат, никуда не годится. Отдыхай пока что, а там посмотрим.

Илья привстал.

— Я нюни не распускаю, а веселиться мне, сам видишь, не от чего. Я работать хочу по мере сил. Ясно. И нечего мне о нюнях говорить!

— Злишься? — усмехнулся заворг. — Не злись, брат, мы злых не любим. А у тебя аж руки трясутся от злости... Вот подправишься малость, я тебя на работу направлю, на конкретную. Да и без меня инженеру место найдут, если инженер захочет. А то—по мере сил...

Илья поднялся, скрипя костылями. Судорога бегала по его лицу и лоб был мокр от пота. Только сейчас заметил заворг, как страшно худ Бояринов, как заострился у него нос, как глубоко ввалились щеки и какие синяки под глазами. Заметив, заворг почувствовал, что не так надо было говорить с Ильей, что дело сейчас не в улыбке и в веселости, но было уже поздно.

— Аппаратчик! — крикнул Илья и покачнулся.—Аппаратчик! — взвизгнул он опять, почти падая на стол. — Ты что меня учишь? А? Какое право ты имеешь меня учить?..

Комсомольцы на сборке масляных выключателей В. М.– 103

Нестерпимо едкое бешенство прорвалось. Кущый, искалеченный человек хрипло кричал о том, что он хочет ощущать себя нужным, что он не может отдыхать и не желает отдыхать в то время, когда страна рожает настоящее, всамделишное будущее, что отдых ему, Илье Бояринову — работа.

Папка упала со стола, и заворг кинулся поднимать ее. В голове у него шумело и очки почему-то так запотели, что он ничего не видел.

Хлопнула дверь.

Илья шел по коридору, стиснув зубы.

На улице было солнце и предобеденное движение. Трамваи трещали от пассажиров. Милиционер весело штрафовал. Толпа запрудила тротуары, и над толпою вместе с нею плыл смех, говор, шутки и опять смех. Илья, стоя на ступеньках крыльца, набрал воздух полной грудью...

Точно холодная вода потекла по легким. Лицо перестало гореть и сердце из горла опустилось на место.

Скрипнули костыли.

— Ничего,—сказал Илья,—ничего. Перекусим. Зубов хватит.

Дома он лег на кровать и закурил; стало смешно, просто и нестрашно. Багровое солнце заливало комнату, и от этого морозного солнца в комнате точно потеплело. Илья откинул голову. Розовые пятна бродили по потолку. Комната была полна смутным и радостным движением.

Где-то звонил телефон, и низкий голос ругался в мембрану.

— Ничего, — опять сказал Илья, — ничего.

Он взял костыль, рукой поднял протез и подошел к окну. В черном дыму захлебывалась высокая заводская труба. Илья засвистел, потом ругнулся.

— Пережигают, сволочи.

Тотчас же ему захотелось работать. На столе лежал журнал, старый, но почему-то непрочитанный. Журнал был толст и велик, тяжел и академичен. Шрифт обложки таил в себе незаметную с первого взгляда серьезность и глубокомысленность.

— Ах, какой! — посмеялся Илья, откусил кусок сладкой булки и пробежал оглавление.

Г. В. Мерцалов — „Потребление стальных труб в СССР и за границей и перспективы развития трубопрокатной промышленности СССР".

Инж. Н. Н. Чинкин—„К вопросу обогащения железных руд Тульского месторождения".

Бюро технических показателей — „Типовая мартеновская печь".

Проф. В. С. Наумов—„Испытание газогенератора Гильгера на торфе на заводе „Красный путиловец".

Проф. Н. Н. Доброхотов—„Об установлении наилучшего веса слитков для шарикоподшипниковой стали".

Инж. С. Ф. Березниковский — „Применение роликовых и шариковых подшипников к электродвигателям металлургического типа".

Все это жило и почти двигалось. Все это было полно перспектив — имело будущее и стояло крепко на земле.

Илья доел булку и сдул крошки с журнала. Ему хотелось петь. Обновленная, нет, новая

страна простиралась перед ним. Вздымались сверкающие корпусы огромных заводов, стальной трос — мускул исчезал где-то вне пределов второго зрения—зрения мечтателя.

— Товарищ социализм!—крикнул Илья: — дорогой товарищ социализм, я все-таки буду работать, шут вас побери, я буду работать, товарищ социализм! И все заворги — милые ребята, а я—паршивая истеричка. Долой истерику! Да здравствуют заворги!

Илья поднял костыль и, поставив конец его на палец, принялся жонглировать. Прядь волос упала на его лоб.

— Держись! — кричал он. — Держись, я вот тебе покажу, гадине...

Сумерки. И в сумерках видится Илье — степь, травы, сияющее небо, совсем пустая степь, и видится еще скучный городок с бравым петухом на главной улице. Петух орет, выкатывая глаза, городок весь в зное, над городком висит солнце, и от зноя кажется, что солнце раскачивается на ниточке.

— Дрянной городишко, — шепчет Илья. — Мерзкий городишко. Мы вот тебе...

И Илья шевелит ногой, будто раздавливая мокрицу.

Городка нет. Вместо городка с грязными стеклами окон, вместо пустой степи - на огромном пространстве раскинулся завод, рудники, и стоит под солнцем грохот и песня.

Песня ли?

Грохот ли?

— Товарищ социализм, — бормочет Илья, — ей-богу, товарищ социализм, можно обойтись без левой руки. Не спорю, с двумя руками удобнее, но можно же.

И Илья идет к чертежному столу и Илья стирает пыль с готовальни.

3

В общежитии девчат угол Нюшки Разумной выделялся чистотой кровати, отсутствием открыток, вееров на стене и изобилием технической литературы в полированной тумбе.

Сама же Нюшка Разумная носила очки, и эти-то стальные очки делали ее настолько неприступной, что никто из ребят Нюшки не замечал. А она была голосиста, ярка цыганским оскалом рта, чуть задумчива и чуть косовата.

В комсомол вступила она потому, что вступили все, первое время зевала и ругалась, а потом, получив сразу четыре нагрузки и пятую, по выражению секретаря, „вне счета“— ругаться и зевать перестала. С Бессом у нее дружбы не получилось и Бессу от нее влетало. Была дружба с Ильей, но Илья, попав в институт, засуматошился и дружба вдруг сгасла. От этого много Нюшка горевала, потому что примешивалось к дружбе еще некое чувство — неуверенное, бередливое и очень теплое. Хотелось белыми ночами совершить необычайное, может быть спрыгнуть с четвертого этажа, но непременно остаться живой, хотелось притти к Илье в стужу босиком, но чтоб это было нужно, чтоб от этого зависела, может быть, жизнь Ильи.

...Но вот уехал Илья, писал всем вместе письма с усмешкой, и пахли письма машинным маслом,—он писал где-то между делом грязными руками... Было в письмах о яблоках и южных черных ночах, было о мощи строительства и о жизни, пахнущей сильно, как смола, были приветы всем и „очкастой Нюшке“ тоже. Слово „очкастая“ понималось Ильей как ласка, но Нюшку било оно пребольно грубоватой и злой фамильярностью. Потом Илья замолчал надолго, и молчание это принялось Нюшкой, как отрыв. Так же принялось это и всеми прочими, исключая Семена, который волновался без толку и слал телеграммы.

Ноябрьской ночью Семен постучался в комнату № 7 общежития. Нюшка вышла к Семену, ей сказали так:

— Там интеллигентный тебя дожидается, выйди, да лапать не давай. Сомнет длинный.

Семен сидел на табуретке, и растерянная улыбка, точно примерзнув, не сходила с его лица.

— Читай, — сказал он.

Нюшка запахнула пальто, - она была в сорочке и без чулок. Семен притянул ее к себе и поцеловал в губы. Погодя, он сказал:

— Если хочешь — плачь, если хочешь — нет. Я плакать не могу, Илья мне, как брат. Прощай пока!

Семен ушел, оставив смятую телеграмму в руке Нюшки. Тихонько Разумная вернулась в комнату и оделась очки.

„При смерти взрывом искалечен надежды нет“,—прочла Нюшка.

Около кровати собрались девчата, Нюшка сбросила пальто и легла. Утром она пришла на завод совсем спокойной и улыбалась даже. Телеграмма обходила ребят.

После работы инженер Семов, Семен — как звали его, попросил слова на собрании цехового актива. Семен был любим и ценим рабочими, но он не умел говорить. Речь его получилась странной, в ней было много печали и мало конкретного, такую речь говорить не стоило.

Речь держала Разумная, и рабочие слушали, зажав ее кольцом.

— Мы убили Бояринова, — сказала Разумная в своей речи, — мы убили Ильюшку, — это раз! Мы разрушили электростанцию, — это два! Товарищи, мы работаем вслепую, мы крутим, как дураки. Товарищи, я, как секретарь ячейки комсомола сборочного № 13, предлагаю...

Собрание сжало Нюшку кольцом. Кольцо это пахло металлом—люди серебрились от металлической пыли.

— Вы убили Илью, вы взорвали станцию, — ломко крикнул Семен и погас.

Толпа повернулась к нему.

— Говори, — приказал старик в кубанке. Глаза его горели, как у волка. — Говори, ты инженер. Объясняй. Батьки у Ильи нет, нам объясняй.

Семен ринулся вперед. Толпа повалила за ним. Все походило на фронт.

— Стой!—крикнул Семен.—У меня мел есть. На черном листе железа он чертил.

— Вот. Подвижная траверса. Контакты. Крышка. Направляющие. Вал. Маховик. Изоляторы. Рычаги. Тросы. Кожух. Так. Подвижные контакты. Понятно? Дальше... Масло...

Семен откинул мел в сторону, мел раскололся, падая.

Семен кричал:

— Учиться! Товарищи, механически нельзя, нужно понимать. Товарищи!

Под дождем, на перекрестке Семен нагнал Петруху Бесса. Вода шумела в стоках, и асфальт блестел лаком. В носу у Семена свербило, и побежал он, потирая переносицу.

— Эй, длинный! — крикнул Петруха, — ноги вывихнешь.

— Дождь же...

— К пса-ам дождь... Придешь?

— Куда? — удивился Семен.

Петруха остановился, широко расставив ноги и покачиваясь. Капли воды стекали с лакированного козырька его фуражки.

— Ко пса-ам! — повторил оне неуверенно и смешливо. — Я тебе вот что, друг, скажу.

Внезапно Семен понял, что Бесс пьян и пьяному зол и откровенен. Дождь стих, и они пошли рядом.

— Возьмем тебя. Ты кто?

— Рабочий.

— Я тоже рабочий. Но у меня душа есть. Душа. А у тебя?

— Не знаю, — сознался Семен.

— Молодец!..

Беседа выходила дурацкой, пьяной и раздражающей. Вдруг Семен догадался и спросил:

— У тебя деньги есть?

— Есть.

— На пару дней — десятку...

Петруха полез за бумажником и, по пьяному обыкновению, рылся долго и выволок все деньги наружу. Денег было много.

Через пару дней Семен поймал Петруху за набиванием карманов дефицитными медными шайбами.

Так началась вражда и так получил Петруха Бесс строгий выговор с занесением в личное дело. Но скоро Петруха хитро оборудовал на квартире у Гошки вечеруху с лапаньем, зеленой лампой и вином. Это было вторым этапом борьбы. Из этого этапа победителем вышел Петруха, так как Нюшка Разумная и Семен о вечере не знали, а Гошка с Иванбедой руководствовались в жизни правилом: раз весело — значит хорошо. На вечеруху был граммофон, и некий юноша в джемпре с разводами наворачивал на гавайской гитаре, имитируя мартовских котов. Потом танцовали, потом пили, потом опять танцовали. Души Гошки и Иванбеды принадлежали Петрухе.

Дни шли своим чередом. Илья кончил учебу и уехал. Нюшка и Семен бились с Петрухой молчаливо, упорно и зло. Петруха посмеивался, а деньги у него не переводились. Тогда его вызвали на бюро. Отсекр коллектива комсомола, положив локти на стол, зло спрашивал:

— Что думаешь делать?

Петруха наивничал и отмалчивался. Козыри были у него, доказательств никто никаких не имел. Гошка и Иванбеда сказали однажды Семену:

— Что вы, дьяволы, парня донимаете? Человек веселый, и пусть живет...

Влияние Петрухи распространялось по цеху вширь и вкось. Слухи о вечеринках докатились до Нюшки. Бесс ходил в нестреньких галстучках, подрыгивая ногой и напевая. Орава приспешников возрастала с каждым днем.

— Работу я исполняю? — спрашивал Петруха, когда Разумная брала его в оборот.

— Ну, исполняешь.

— Раз. — Петруха загибал один палец. — Нагрузку несу?

— Несешь.

— Два. На работу не опаздываю?

— Нет.

— Три. Прогулов не делаю?

— Филон ты, а не человек, — сердилась Нюшка. — Барахло!

— Ты не ругайся, а слушай, — возражал Бесс. — Работаем мы восемь часов. Устаем. Жилы тянет, — вот как устаем. Имеем мы право отдохнуть? Ясно — имеем. Ты книжки читаешь — молодец, Серега; карточки снимает — паинька. А я куцый? Я по-своему отдыхаю. В киношку хожу, в театр хожу. Не люблю дома сидеть — и точка, и вечерухи устраиваем. И будем устраивать. Скука, — поняла? Скука. Вот мы и веселимся. Приходи, коли завидно.

И, посмеиваясь, Бесс смывался.

— Исключить, — решила Нюшка. Бюро поддержало. И хоть против Бесса не было никаких улик, его исключили. Но Бесс не сдавался. Поймав в завкоме Семена, он сказал ему, подмаргивая и дергая галстук:

— Ловко сделано. Чик-чик — и готово. Хитры вы, други, да не дюже. Поглядим еще, кто кого перехитрит..

И Петруха исчез. По молодежи пошел шумок. Гошка и Иванбеда шумок раздували. Нюшка побывала в коллективе партии, в коллективе комсомола — советовалась. Ее ценили, с мнением ее считались, дело было ясное и простое. Но Бесс нажимал на все педали. В райкоме заявление его оставили без последствий. В тот день над Ленинградом стояло солнце и таяли сосульки. Бесс забежал в ворота, содрал галстучек и воротничок и сунул все это в карман.

— Поглядим, — бормотал он в трамвае, — поглядим!

Трамвай тарахтел, как пролетка, и в трамвае было пусто. Петруха, повздорив с кондукторшей, легонечко ее толкнул плечом. Кондукторше Петруха понравился, смена ее кончалась, они пошли в столовку вместе.

Ночью Петруха сочинил заявление в высшую инстанцию, на пяти листах с половиной. Кондукторша оказалась сметливой и помогала сочинять. Было в заявлении о стаже Бесса, о его работе и об отрыве руководства от массы. Были намеки и о склочничестве. Инстанция передавала заявление от инструктора инструктору два месяца, потом предложили бюро ячейки решение свое пересмотреть. Бюро пересмотрело, но Бесса не восстановили. Тогда Бесс вновь поехал в райком. В то время пришла телеграмма о том, что Илья при смерти.

Вопрос сразу был поставлен остро. Цех гудел. Молодежь десятками записывалась в кружки повышения квалификации, записывались и старики. Семен метался в поисках руководов, но инженеры были перегружены и большая их часть наотрез отказалась от руководства. Семов орал, но толку из его орания не получалось.

Петруха, после всех бед, присмирел с виду и восхитился идеей повышения квалификации

— Даешь,—сказал он, — мы себя покажем!

Ему и правда захотелось себя показать. Стоило припалечь на учебу, для того чтобы „накалывать“ потом по паре сотен в получку.

Первого числа начала занятия бригада Семова. Инженер Рихль руководил учебой. Поздоровавшись, он извлек из пиджака зубочистку, поковырял, почмокал и сказал:

— Да-с, вареная говядинка...

Потом на доске острыми буквами написал:

1. Электротехника.
2. Технология металлов.
3. Механика.
4. Черчение.
5. Материаловедение.
6. Станки.

— Прошу списать! — молвил Рихль. Он был сух, корректен и брезглив, этот стареющий, лысоватый человек, но он много и хорошо знал, и занятия пошли успешно.

Семен устал. Позевывая, вышел он из конструкторского и своей вихляющейся походкой пошел в столовую. Обед был плохой, в соусе плавала какая-то пакость, и Семен потребовав жалобную книгу, исписал в ней две страницы. Он был очень зол, и жалоба его читалась не жалобой, а угрозой, — столько в ней сулилось чертей.

Потом Семен поехал на вокзал и малость там посуетился. Это помогло: злоба и туман перед глазами прошли. Купив газету, он обнаружил, что несколько заводов во главе с тем, на котором работал он, программу перевыполнили. Семен похвалил эти другие заводы.

— Задувают, гады, — бормотал он, — ничего!

Дома лежало письмо. Почерк был незнакомый, прижимистый, и буквы бежали круглень-кие. Письмо было от Ильи, но Семен стиснул зубы. Такими коротенькими письмами уведомляют о смерти. Семен выдохнул воздух из легких и взял бумажку. Прочтя, он сел на пустое место и очутившись на полу, не удивился.

— Выжил, — сказал он, — подумайте пожалуйста, выжил... А?

Разумной дома не оказалось, Семен нашел ее позже у Петрухи.

— Товарищи, — сказал Семен, — ребята, Илья жив. Илья приедет сюда...

Семен незаметно для себя, но очень заметно для окружающих плакал. Слезинки, мелкие и какие-то старушечьи, падали на пол.

— Илья — калека, — продолжал Семен, упрямо не замечая слез, — у Ильи взрывом уничтожены левая нога до паха и до локтя левая рука. Он приедет сюда. Нужно сделать так... чтобы Илья... не заметил... Я хочу сказать... создадим отношения... товарищи... Понятно?

Разумная подошла к Семену.

— Конечно, понятно, — тихо сказала она и увела Семена из комнаты.

На пленуме цехячейки Семен молчал. Ему нечего было говорить. Говорил Иванбеда.

— Мы учимся, — хотелось сказать Разумной, — мы крепко учимся, чего же больше? Да, сейчас мы очень заняты. Да, мы работаем восемь часов и не хотим знать ничего больше. Но прогулов у нас нет. Браку у нас нет. Опозданий нет... Расценки мы себе снизили. Так в чем же дело? Или плохо мы работаем, не напористо, не по-настоящему?

Но Семен молчал. Это были ответы на незаданные никем вопросы. Это были ответы на вопросы, которые задавала одна половина Разумной другой ее половине.

По информации Иванбеды, паренька, чем-то напоминающего петуха, все было гладко. Да и вообще все обстояло прекрасно. Все обстояло отлично, идеально, пожалуй.

Вот сидит Петруха. Он перестал бузить и филонить. Он подал заявление в комсомол, и может быть его вновь примут. Парень как будто исправился. Возможно, что и мы виноваты в отходе ребят. Теперь учеба — достаточно действенное противоядие против вечерух. Верно, скучают ребята, одними заседаниями пичкаем. Теперь настоящее дело. Конечно, все хорошо. Бригада учится, бригада работает. Вот сейчас любой парень из бригады Семова ответит на ряд вопросов по технологии металлов... Или... или пускай попробует кто-нибудь ответить, чем отличается пулевой автомат от минимального? Ну-ка?

Кончил говорить Иванбеда, поправил кепку и сел. По-кошачьи облизал сухие губы красным, острым языком. Все получилось у него ладно, просто, даже весело. Мы учимся, мы работаем, через полгода наша полезность производству возрастет в два-три раза. Не будет „нечаянностей“, подобных нечаянностям на станции, которой заведывал Илья. Товарищ руковод — Анатолий Павлович Рихль — может подтвердить это. Не правда ли, товарищ руковод?

Руковод кивает головой.

— Безусловно, — говорит он, — безусловно. В этом нельзя сомневаться. Молодежь делает прекрасные успехи, молодежь в большинстве своем работает, как вполне сознательные борцы за новые отношения к труду.

А почему, товарищ руковод, не борцы за социализм? Почему, товарищ руковод, вы обходите прекрасное гордое слово „социализм“? Почему? Неужели оно мало музыкально для вашего уха? Или, быть может, вы боитесь громких слов?

Семов возвращался домой медленно. Голова была тяжелой и от ветра слезились глаза. Бесс вышагивал рядом.

— Ерунда, — говорил он, — все, Семэ, ерунда. Барахлят ребята, по-моему серьезности у них мало.

— Положим.

— Вот тебе и положим; глубины нет, упора нет.

Семов махнул рукой и повернул за угол. Дома он подвинул стул к столу и наклонился над таблицей. Таблица была запутана, сложна и связи с производством не имела никакой.

— Бестолковщина! — пожаловался Семен и лег спать.

Дни катились один за другим, страшно друг на друга похожие, очень утомительные, неспокойные и как-то несобранные, некрепкие. Цех посматривал на бригаду Семова косенько. Гошка с Иванбедой лаялись и зевали на производсовещаниях. Разумная сидела над кни-

гами все свободное время, и нагрузки секретаря цехячейки комсомола понемножку ее тяготили. Однажды в сумятице очереди за обедом она сказала Семену:

— Сема, надо нам сегодня после занятий остаться, разговор есть серьезный.

Занятия шли как всегда. Рихль чертил на доске, глаза его посмеивались, толстовка в клеточку была хорошо отглажена.

— Прошу списать, — говорил он, постукивая мелом. — Идем дальше. Если коэфициент полезного действия трансформаторов колеблется между...

Рихль был еще строен. От рыжеватых подстриженных его усов хорошо пахло и на пальце блестело кольцо.

Потом задавались вопросы; Рихль выслушивал их, слегка наклоняя голову.

„Зачем это он выкозюливает?"—спрашивал себя Семов и не мог ответить. Рихль был вежлив, но не до приторности, а как раз в меру.

— Итак, — говорил он, — прошу обратить серьезное внимание. От усвоения настоящего момента зависят наши дальнейшие успехи. Если предельную потерю напряжения мы выразим через...

И на доске рождались формулы, легко и просто производились вычисления, стирались, уступая место другим, и так до конца...

— К следующему разу я просил бы вас...

Через стекла конторки мастера видна была бригада, которой руководил инженер Юдин. Они стояли у каркаса с записными книжками в руках, и Юдин писал формулу на сером баке маслянника.

— Теперь, товарищи, обратите внимание на контакты. Давай условимся таким манером.

Юдин размахивал руками и орал. Бригада повалила за ним во тьму. Но там кто-то зажег свет.

— Запомните, товарищи, обстоятельство вот какого рода: если процент примеси в масле...

Семен встал.

— Товарищ Рихль, — сказал он, глядя в светлые глаза инженера, — товарищ Рихль, мы занимаемся уже много времени, а и сейчас не выходим из конторки. Теория — дело, конечно, хорошее, и не нам судить — пора переходить к практике или нет, но вот инженер Юдин занимается меньше нашего, а как ни глянешь, все в цехе орудует. Чем это можно объяснить?

Рихль улыбнулся.

— Методом, — ответил он погодя, — методом. У каждого свой метод. Я считаю, и считаю не без оснований...

Тут последовало изложение метода. Семов слушал. Петруха Бесс подцакивал и рисовал в тетрадке некий закрученный узорчик. Когда Рихль кончил, слово взяла Нюшка.

— Товарищи, дело у меня короткое. Как вам известно, руководов нехватает по всем цехам, а не только у нас. Ребят же, желающих учиться, очень много. Нельзя ли как-нибудь расширить наш кружок еще хоть на пять человек? Конечно...

Но Разумной не дали кончить. Гошка застучал по стулу и крикнул:

— Это для чего! Мы из-за них останавливаться не желаем. Они небось ни черта не понимают, и мы должны сидеть ручки в брючки. Лаптем закройся, Разумная!

— Правильно, — поддержал Петруха, — правильно, Гошка. Мы через полгода дело будем знать, класс работы покажем... Пускай себе организуют...

Рихль слушала очень серьезно и очень внимательно. Пальцами правой руки он крошил мел. Страсти разгорались. Семов выжидающе молчал. Ему было нехорошо и мутно, как после пьянки. Разумная протирала очки. В это время хлопнула дверь, и в конторку вошел Юдин. Он только что кончил заниматься с ребятами и, услышав шум, повернул к конторке. Молча он пожал руку Рихлю и сел в сторонке. Наконец слово взял Рихль.

— Лучше меньше, да лучше, — молвил он, — это, как вам известно, Ленин говорил и правилом этим руководствовался. Так вот решайте, товарищи, что приемлемее: либо, расширив состав кружка на сто процентов, засесть с этим расширенным составом за азы, вам следовательно топтаться на месте, а мне ломать программу, либо оставить это дело до ближайшего будущего, поднажать и по-большевистски.

Юдин дымил папиросой, и за дымом не было видно его лица. Рихль повернулся к нему:

— Товарищ Юдин — инженер и в деле подготовки кадров знает не меньше меня, если не больше. Опыт у него, конечно, больше, — не скажет ли нам товарищ Юдин, что он думает по этому вопросу?

Юдин разогнал рукой табачный дым и поднял глаза на Рихля.

— Послушаю, — молвил он, — тогда и скажу. Я еще не совсем понимаю...

Опять заговорила Разумная:

— Я думаю, что товарищ руковод прав. У меня есть еще одно предложение: сейчас мы кое в чем подкованы и, по-моему, сами смогли бы взять каждый по кружку на себя и вести эти кружки. Товарищ руковод нам бы, я думаю, помогал, а ребята, те ребята, которые хотят учиться и не могут из-за недостатка руководов, начали бы работать. Вот я что думаю.

Рихль все улыбался.

— Я с вами не могу согласиться, — ответил он, — при всем желании. Дело руководства кружком — сложное дело, гораздо более сложное, чем вы думаете. Хорошо, если ваши ученики молча будут выслушивать ваши объяснения, молча записывать и молча уходить. А что, если они окажутся народом любознательным и будут засыпать вас вопросами, на которые вы не сможете отвечать? Ваш авторитет потеряет под собой почву, вы окажетесь на положении солдата, у которого нет патронов. А знаете, чем это грозит? Это грозит полнейшим развалом работы, это грозит окончательной аварией, полной потерей интереса учащихся к учебе. Но это еще не все. Для того чтобы вести работу, вы должны будете подготовляться к занятиям, потому что даже я, — я позволю себе сказать, что знания у меня глубже и прочнее, чем у вас, — даже я не прихожу сюда не подготовившись. Готовиться к занятиям вам будет необходимо, а следовательно необходимо будет тратить время на подготовку. Временем же вы крайне стеснены. Так?

— Конечно, — сказал Петруха Бесс, — безусловно стеснены. Да что, в самом деле, и так ясно... Му-ура это все.

Юдин рисовал что-то на доске, жуя мундштук папиросы. Кожа на его лбу собралась двумя вертикальными складками. Наконец Рихль кончил.

— Теперь я скажу, — молвил Юдин, круто поворачиваясь и обнаружив рисунок, которого никто до сих пор не замечал. — Теперь я скажу, — повторил Юдин, резко вскинул руку и пальцем постучал по доске. — Смотри, ребята, и вы смотрите, товарищ руковод. Тут я мельком, бездумно, а так, просто слушая вас, кружок изобразил. Видите. Вот он — диаметром невелик, да и крив весь — без циркуля делал. А в кружочке этом вы сидите, всей бригадой плюс руковод ваш, уважаемый товарищ Рихль. Сидите и молчите, и вылезать не мечтаете, потому что кружочек заколдованный. Поняли?

— Не загибай, — крикнул Петруха, — мы интеллигентному не обучены.

— С тобой, Петруха, да не с тобой, а о тебе разговор особый будет, — продолжал Юдин спокойно и медленно. — Так вот, значит заколдованный круг. А заколдовали его уважаемый наш руковод, товарищ Рихль, и еще одна личность — Петруха с приспешниками. Руковод ваш заколдовал от непонимания, а Петруха — потому что любит он деньги и хорошую жизнь и ради этого упорно учится. Плевать ему, Петрухе, на все прочее, — дай ему разряд. Поняли? Я вас спрошу сейчас, ребята, чему вы научились за полгода, а? Ну например, взорвался у Ильи на станции маслянник от технической вашей безграмотности, оттого, что контакты были собраны неверно и по мере употребления маслянники расшатывались. Так знаете ли вы, ну, хоть ты, Нюшка, как нужно собирать контакты и почему их нужно собирать так, а не иначе, — ну?

Разумная молчала.

— А ты, Семен? Тоже молчишь? Занимались вы тут отвлеченной техникой, а руковод расширял технический ваш кругозор. Кому от этого польза? Никому. Не это нам, товарищи, сейчас нужно. Куда вы зашли? В тупик, некуда дальше поддаться. Оторвались от коллектива, и нужды, желания ребят стали для вас не нуждами и желаниями вас самих. Вот тут Рихль чего напел: нельзя, дескать, вам самим руководить. Врет, можно. Ребята поймут, что не можете вы еще всего знать, и не простынут. Вместе. Все. Понимаешь .. Инженеров нет? Есть. Растрясти нужно. Взяться...

Рихль улыбался прозрачными глазами. Ему становилось скучно. Дома в этот час он бы спал на диване. А тут...

— ...А дело у меня вот какого толка: взрыв произошел по вине твоей бригады, то есть меня, Бесса, Разумной, Гошки и Иванбеды. Понял?

Илья потушил папиросу и бросил ее в угол комнаты.

— Понял?

Илья долго не отвечал. Наконец он усмехнулся.

— Плетешь, — молвил он неуверенно и быстро, — вздор плетешь. И не пойму, за каким чортом.

Семен опять налил себе чаю.

— Бригада, — сказал он сухо, — твоя бригада виновата во взрыве и в этом твоем убожестве.

Начиная понимать и мучась этим своим пониманием, Илья поднялся. Первый раз за всю жизнь Семен показался ему чужим человеком, плохо знакомым и злым нехорошей, беспричинной злостью. Привстав, он вгляделся в серое Семеново лицо, в лохматые его брови.

— Нарочно они это? — спросил он негромко. — Цель у них какая?

— Дурачина! — вдруг засмеялся Семен и сразу стал близким и родным от этого рассыпчатого и еще очень молодого смеха: — дурачина! Гошка — вредитель тебе, а? Разумная — вредитель? Эх, ты!..

Илья тоже улыбнулся:

— Да нет, я не то... Тут, видишь ты, показалось...

Возникший пятью минутами раньше холодок расстаял. Илья опять сел. Разговор шел горячими путями. Семен стучал ладонью по столу, ладонь сорвалась на блюдце, опрокинулся стакан.

Илья был взволнован.

— Товарищество, — говорил Семен, — товарищество. Они из-за товарищества, эти Гошки с Иванбедой, покрывали Петрухино воровство, а я с Разумной, руководствуясь тем же товариществом, не могли во-время отшить Петруху, человека, искажавшего всю линию учебы... Ты жаловался, что райком не дал тебе работы. Я пришел от ребят. Ты можешь руководить, ты должен руководить. Понимаешь? Это еще не все. Тебе должно быть трудно жить одному. Ребята уполномочили меня передать тебе... У Гошки маленькая комната, но он может переехать к тебе. Вот, я думаю, тебе должно быть трудно одевать пиджак или шнуровать ботинки. Понимаешь? Затем я...

Разговор шел горячими путями. Было время зари, и заря вставала над городом в гроздьях тяжелых снеговых туч.

В пять часов вечера того же дня Илья шел по сборочному. Костыли его чирикали воробьями. Карболкой пахли бакелитовые изоляторы. Навстречу Илье попался Петруха, — он был зол и красен. В конторке стояла тьма, ребята собрались у бака с кипятком.

— Ну, давайте, — молвил Илья и пересчитал всех глазами. — Многонько, — прибавил он, — многонько.

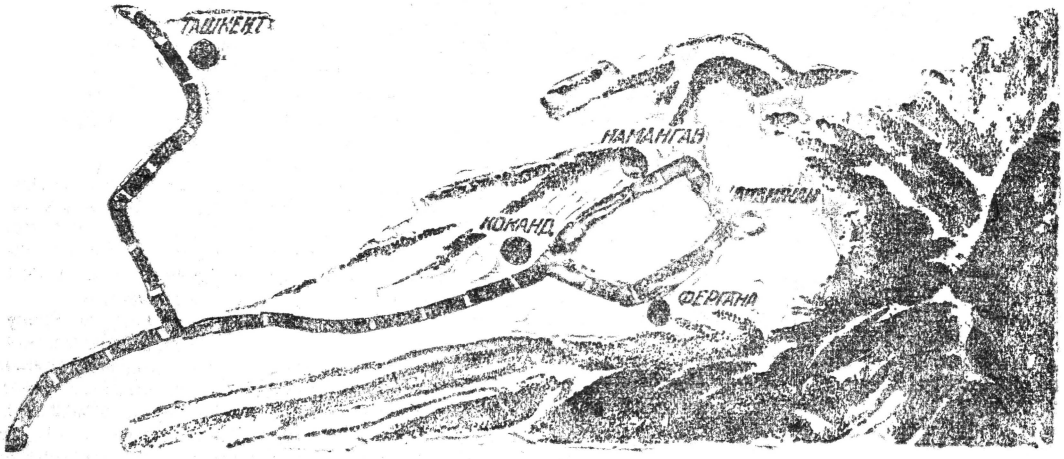
— Тридцать два человека, — сказала Разумная. — Мы думаем разбиться на звенья. И потом инженеры мобилизованы. Одним словом, не беспокойся. Нажмем.

Илья молча смотрел в лица ребят, выжидающие и почему-то строгие. Потом он сказал:

— Товарищи...

Дальше он говорить не мог, а все ждали. В грудь шло тепло, и сердце билось так, что удары можно было считать. Вот. Раз, два, три, четыре...

— Товарищи, — опять сказал Илья, — давайте мы действительно нажмем!..



ФЕРГАНСКОЕ КОЛЬЦО

ДОЛИНА ПЯТОГО КЛИМАТА

(ВВЕДЕНИЕ)

С этого номера мы начинаем печатать серию очерков „Ферганское кольцо". Этим общим названием объединены записки спецкора, работавшего по хлопковой посевной кампании в Ферганской долине в 1931 году.

МИХ. ЛОСКУТОВ
Рисунки В. РОЖДЕСТВЕНСКОГО

Ферганская долина расположена в пятом климате обитаемого мира. С трех сторон она окружена горами. К западу открыта дорога на Самарканд, к востоку идет перевал в Кашгарию, а на северо-западе лежит город Алма-ата, ныне совершенно разрушенный.

Из записок султана Бабура (XV столетие).

Весна в Фергане начинается немного легкомысленно. Человек выходит из будки, расположенной на ирригационном пункте у верховьев реки, смотрит немного на реку и потом сообщает в город: „Весна началась". Это значит, что вода пошла. И действительно: жители долины смотрят кругом и видят, что снежные горные вершины начали чернеть. Реки наполняются водой. Нарын, Сох и другие большие реки выбегают из ущелий на поля, потом попадают в оросительные канавы, арыки, которые бегут по улицам десятка городов. Мутная и холодная вода, пришедшая с вершин Тянь-Шаня и Алайского хребта, бежит мимо кооперативов и районных учреждений, мимо вывесок портных, мимо извозчиков в белых войлочных киргизских шляпах.

Тогда начинаются серьезные дела. Дехкане берут железные кетмени, похожие на лопаты, вывихнутые вроде буквы „г". Они идут в поле и начинают чистить арыки. Охотники идут к озерам стрелять диких уток.

В осоке шляются дикие кабаны, щетинистые и толстые, веселые от весны и всяких переживаний. Кабаны видят странных людей, пришедших на дикие массивы с лопатами и большими арбами, у которых колеса выше человека. Это начинается освоение целины: план посевной площади увеличен. Кабаны отступают к болоту.

В городе, в учреждениях начинается шум. Открывается первое заседание посевкома. По улицам мчатся всадники с портфелями, в тюбетейках, с кожаными плетками. Они едут через деревянный мостик, туда, где начинается квартал Шарк, что значит — Восток. Это — кривые улицы глиняных домов с плоскими крышами. На крышах прорастает трава. Арбы едут по узким улицам. Старики в чалмах сидят на ступеньках. Перед ними возвышаются высокие мечети с древними облупленными минаретами.

Отсюда ведут бесконечные пыльные дороги в кишлаки — глиняные деревни, окруженные зеленью.

По дорогам двигаются верблюды. Вдали белеют вершины Алайского хребта. По ним бегут синие извилины тающих снегов. Небольшие облачка цепляются за вершины и дремлют. Дороги вздымаются пылью. Арбы скрипят отчаянно и крикливо. Солнце горячо. Верблюды сонны и медленны, как древние египетские чиновники... Дороги, дороги Ферганы. В их горячей пыли разворачивалась моя повесть об узбекской весне.

Часа в четыре в небольшом кишлаке Арык закончилось собрание дехкан. Я вышел из чайханы и направился к городу. Дорожка вела между двух рядов тутовых деревьев, между полей, на которых еще торчали черные стебли прошлогоднего хлопка. Солнце спускалось к горам. Я почти дошел до пригорода, когда за поворотом увидел впереди себя что-то несовсем обычное. Это был по всей видимости человек, шел он по земле, но снабжен был каким-то непонятным сооружением. Сверху из человека торчала длинная труба, сбоку висели какие-то колеса. Я догнал его и увидел: пожилой человек, в очках, нес за спиной большой ящик. Труба телескопа выходила из ящика. Была она оклеена разноцветной бумагой. Человек остановился и снял с плеча ящик. Тогда я прочел сбоку громадную надпись. Она у меня записана без всяких изменений.

Наука, практика и гигиена

С разрешением начальства СССР

Сегодня

ТЕЛЕСКОП

показывает различные местности природы

Обозрение планеты Венеры при закате солнца — 30 коп.

Звезды и пр. — 20 коп.

Горы, ландшафты, а также местные явления.

Каждый экземпляр вида — 20 коп.

Самоучка изобретатель - путешественник

И. Думов

— Изумительно! — сказал я человеку. — Наука, практика и гигиена. Что же вы тут делаете?

Впрочем я спросил, не зная, что спросить. Я знал, что он делает: он зарабатывает деньги. Меня поразило присутствие этой странной трубы в такой неподходящей обстановке. Это была не Сухаревка и не Сенная, до них было четыре тысячи километров. Мы стояли у арыка, в далекой Ферганской долине; шелковое дерево свисало над нами; день кончался; мы присели у арыка, я снял сапоги и сунул ноги в холодную воду.

— Я — технический путешественник Иван Васильевич Думов, — сказал человек, свертывая папиросу. — Меня знают кавказские горы и астраханские степи. С этой штукой я был на мрачных ледниках Памира, — сказал он, указывая на трубу.

— Это — театральный пафос, — сказал я, — это не пойдет. Вы ходите по базарам городов и продаете свою Венеру прохожим зевакам. Она им нужна только на двугривенный. Зачем на ледниках нужна ваша труба? Это — дорожное развлечение.

Путешественник посмотрел на меня с изумлением, но не обиделся. Он опустил оловянные очки на кончик носа и поднялся. Я тоже встал.

— Вот как?! — сказал человек на ходу. — Вы не верите в девять планет человека?..

— Я не знаю, что это такое.

— Каждый человек проходит девять планет в своем земном существовании. Все вещество проходит свои девять планет, в этом заключен круг судьбы. Смотрите, сколько жизни кругом. Поют разноцветные птички, дехкане пашут поля. Они уйдут и превратятся в этот камень.

Он сценически показал на высокую траву. Мы вошли в нее. Это был мазар — мусульманское кладбище. Намогильные камни дремали в траве. Камни были горячи от солнца. В траве прятался развороченный хаос города мертвецов. В этой стране принято покойников класть на землю, а вокруг них воздвигать остроконечные надгробья и входы замазывать глиной.

По обыкновению склепы были разрушены шакалами и временем.

На пригорке в пыли лежали кости и череп человека. Череп явно играл в пользу Ивана Васильевича. Бутафорские детали делали сценическую мрачность.

— Вот,—сказал Иван Васильевич. — Нужно видеть и понимать природу вещей, которая есть спокойствие. Я показываю людям миры и беру за это только двадцать копеек. А вчера на базаре ко мне подошел красноармеец и потребовал, чтобы я показал ему планету Венеру. Днем! Венеру! „Она бывает только вечером. Я не могу передвинуть небо, как ты передвигаешь свою фуражку на своей невежественной голове, неуч!" — сказал я ему. Тогда он выругался, сказал, что ему некогда ждать до вечера, и тут же купил за двугривенный дыню. Они предпочитают планете Венере простую дыню!..

Он расставил треножник и стал налаживать трубу. Она падала и скрипела. На другой стороне ящика я увидел транспарант. На нем была нарисована планета, розовая и неровная, как яблоко. От нее исходили лучи. Остальное поле было занято звездами.

Я заглянул в трубу. Там были смутные очертания деревьев, потом небо, потом горы.

— Вот,—сказал изобретатель. — Мы стоим на древнем кладбище. Под нашими ногами — земля и кости. Молодой человек! Это — мощность природы. Хребет Алай! — он выкрикивал это голосом профессиональным и скучным, как кондуктор выкрикивает остановки трамвая. — Хребет Алай! Мощный отрог Памира! Там высоко в синеве туманов проходит перевал Терек-Даван, вечная дорога в Китай. Налево вы видите Тянь-Шань. Направо...

— Откуда вы все это знаете — спросил я простодушно.

— Я? Я знаю все пути и долины!

— Оставьте этот тон. Вы не в театре. Мы на кладбище. Кругом никого нет... Вы сами знаете, что девять планет изобретены вами.

— Тянь-Шань тоже? — спросил старичок изменившимся спокойным голосом.

— Нет, Тянь-Шань открыт без вас. У вас странное занятие...

Тогда старичок замолчал. Он свернул свою трубу, сел на землю, вынул кисет с махоркой и зевнул.

— Мне надо кушать. Я зарабатываю хлеб. Я пришел в районный отдел народного образования и сказал: пусть меня пошлют по кишлакам, — я буду ходить с культурно-просветительным телескопом. Мне сказали — дехканам не нужны ваши телескопы. Оставайтесь стоять на базаре.

— Правильно. Дехканам не нужны сейчас ваши, эти самые... штучки. Звезды.

— А вы вот тоже ходите с футляром. А они нужны?..—Он указал на мой фотографический аппарат.

— Да, нужны. Я снимаю не Венеру. Я снимаю посев хлопка, удобрение полей, открытие парников, тракторы. Это не похоже на Венеру. Кроме того я пишу в газеты, всякие вещи делаю, организую...

— Вы – корреспондент газеты?—спросил человек и задумался. — Вы живете в коммунальной гостинице? Вот что. Я к вам приду. Или лучше я сейчас дам вам одну штучку. Я тоже иногда занимаюсь писательством. Но я больше так это, с культурно-астрономической стороны... — сказал он смущенно и достал из кожаной сумки ветхую книгу. — Вот прочтите это как-нибудь. Тут больше поучительное.

Он вынул из книги тетрадку и протянул мне.

Мы расстались со старичком. В хлопотах весенних дней я было забыл про его тетрадочку, но однажды в свободный вечер я вынул и стал читать ее.

ЛЮДИ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

Бек. Тип крупного дореволюционного землевладельца - аристократа.

„Ферганское кольцо

„Тетрадь описаний со времен султана Бабура (повесть). Культурно-астрономические знания, а также разные происшествия.

„О существовании прекрасного и драгоценного Ферганского кольца люди сознавали и писали еще во времена Александра Македонского.

„Где оно было, Ферганское кольцо? В древности люди делали к этому разные предположения (проекты).

„В старых книжках можно сейчас об этом прочитать. Только сейчас в библиотеках нету этих книжек, что было бы полезно для юношества и граждан. Как-то: записки султана Бабура, писания Махмуда Кашгарского. Они сообщали о кольце.

„Ферганское кольцо прельщало Александра Македонского, поэтому он и прибыл сюда.

„Это было поистине золотое кольцо. Многие ханы и цари, также и русские стремились захватить это кольцо...

„...И вот был я на станции Урсатьевской и закусывал бутербродами в буфете, там между прочим раскрываются карты; написано там: „по Ферганскому кольцу поезда отправляются в следующие часы: товаро-пассажирский в 12-10 и почтовый в 14".

„Пусть знает читатель, что Ферганским кольцом называется железная дорога по Ферганской долине, она смыкается в круг. Да и вся долина устроена кольцом. Кольцом — горы, внизу кольцом — селенья, по селеньям кольцом — железная дорога, а посередке — пусто. Там голые пески, в которых никто не живет, кроме зверя.

„В этом есть большое остроумие природы!.."

Дальше я читать не стал. Дальше начались длинные рассуждения насчет величия природы. Никаких более или менее интересных „происшествий" в тетрадке не оказалось.

Через два дня ко мне зашел Иван Васильевич, без аппарата. Я ему отдал тетрадку.

— Ну как? — спросил он.

— Так, — ответил я. — Да вы для чего собственно ее хотели?..

— Да вот, я думал, может быть в газетку хотя бы, если можно...

— Нет, такие вещи в газетку не нужны. Не интересно. Кольцо и кольцо. Вот вы ходите по кишлакам: написали бы что-нибудь насчет посева хлопка. Хотя бы небольшую заметку.

Через день он принес новую тетрадку. Она открывалась так:

„Как делается хлопок

„С давних пор на землю сеют пышный цветок хлопка. В старых книжках читатель может прочесть, что в Китае хлопок был известен за 2500 лет, а в Индии — за 1500 лет до нашего летоисчисления..."

После этого описывалось солнышко, которое пригревает землю, зернышки, которые бросают в землю, травка, которая вырастает...

— Безнадежно. Она вас погубила, эта ваша труба, — сказал я самоучке.—Вы смотрите на

небо и ни черта не видите на земле. Пишите о простых вещах, какие вы видите на этой планете.

Он ушел сердитый. Я его не видел больше ни разу в жизни и наверное забыл бы.

Но однажды, вернувшись из кишлака, я нашел пакет на свое имя. Я раскрыл его и увидел там громадный лист бумаги. Что за чорт! Я узнал на нем знакомую большую планету, розовую и круглую, как яблоко, порыжевшие звезды, усеивающие черное поле. Но бумага была изорвана, лучи были прорезаны в двух местах чем-то острым. На обороте было письмо. Оно было написано тем же напыщенным тоном, но я его приведу полностью, потому что оно достаточно любопытно.

„Как делается хлопок

(Дополнение)

„Конец астрономии, дорогие товарищи! и гибель планеты Венеры!

„Вы мне советовали перестать смотреть в мой отвлеченный телескоп на звезды, а посмотреть на землю, и что же — увидел рыжего мерзавца с проклятыми усами.

„По порядку начинается с кишлака Алты-Юль. По-русски это значит „шесть дорог", а сколько дорог там — неизвестно. И вот по одной из этих дорог иду я со своим верным телескопом.

„А в это время представьте себе подвечер в этом кишлаке. Базарная площадь пуста как степь, уходящая книзу, к близким нагорьям, и туман начинается на холмах. А в чайхане закипает самовар и чайханщик несет пиалы под навес. У чайханы сидят мужчины-дехкане и обсуждают текущий момент, сложившийся в кишлаке довольно паршивым боком, что я узнал впоследствии.

„А именно: на холмах появилась звезда — не звезда, а яркий огонек по ночам горит и тревожит всех хлопкоробов. То мрачный огонь дехканских колебаний; посудите сами, — приезжали члены райисполкома и советовали всю землю засевать хлопком и не сеять в этом году ни риса ни пшеницы. С другой стороны ученые старики категорически заявили, что огонек загорелся на горах именно в связи с членами райисполкома: Аллах не хочет хлопка и зажигает костры. Утром дехкане отправились на горы посмотреть на Аллаха, но ничего там не нашли. Вечером, в час затмения, опять загорелся огонь.

„— Чорт или Аллах? — сказали старики. — Если Аллах, то мы будем сеять один рис.

„— Несомненно, Аллах! — сказали категорически двое мужчин — местный мулла и брат муллы.

„— Ну, а если чорт? — спросил один из них.

„— Тогда мы будем сеять пшеницу.

„В общем, слово за словом, — настроение создалось мрачное. Тут я этаким веселым бобром подхожу к кишлаку. Напеваю про себя, вижу — чайхана.

„— Салиям-алейкум! — говорю, — я старый астроном, показываю все на свете.

„Объясняю, как обычно, — горные хребты Алая, далекий мощный перевал Терек-Даван, то да се..

„Встретили меня хмуро. Потом сказали, что ждут вот Аллаха, часа через два должен появиться. А рыжий старик, который был местным муллой, вообще предложил мне убраться. Я по-узбекски понимаю плохо, но слышу — говорит он на меня, с аппаратом:

„— А не есть ли это — самый шайтан, правоверные?..

„— Нет, — говорю. — Вот есть удостоверение ЦБРИЗа — самоучка-изобретатель с культурно-астрономическими целями.

„— Ну, я, — говорит рыжий, — с дьявольскими штуками не хочу знаться. И вам не советую.

„Оправил он халат и пошел к своему двору.

„И никто, действительно, моим аппаратом не интересуется.

„Я и так и этак, сам в аппарат смотрю. — „Ай, кричу, какой карагач смешной: был маленький, а стал большой. Вот номер: дом-то растет как здорово!.." Ни в какую! До темна какой-нибудь час остался, не успею, думаю, сегодня заработать. А эти смотрят на меня и даже чаю не предлагают. И сижу я так с полчаса, кручу аппарат, посматриваю. Повернул на холм и вдруг — вижу дьявольские штучки! Мой старый аппарат, я вижу невиданные вещи в косьмосе! По тропинке на горе поднимается вверх не кто иной, как рыжий мерзавец мулла, длиннобородый представитель священного класса. Он шагал как тень по горе, то была его последняя тропинка!

„— Стой! — кричу, — Уртакляр! Дехкане! Вот теперь я покажу вам невероятную программу! Не сейте пшеницу! Смотрите, идет по горе рыжий мулла, издыхающий паразит. Это его штучки!..

„— Как мулла?!. — подбежал ко мне брат муллы и хвать кулаком по голове. Из-под халата выхватил кинжал и по Венере кинжалом, по звездному небу.. — „Бейте его! — кричит, — ломайте! Это шайтан!"

„Подбежали еще двое. Утром я, товарищи, был с разбитым лицом, а муллу повезли в город, а дехкане держали его за руки. Так косьмос мой повернулся лицом к земле, к ферганской земле, на которой валялся мой разбитый аппарат, и дехкане сеяли хлопок.

„Остаюсь самоучка-путешественник Иван Думов (без телескопа)".

●

У меня хранятся бумага с Венерой и это письмо.

Я думаю, что его можно поставить эпиграфом к моим очеркам о Ферганской долине.

Действительно, Ферганским кольцом называется кольцо железной дороги. Коканд — Наманган — Хакул — Абад — Андижан — Фергана — Коканд.

По этому кольцу я двигался, заглядывая в города и окружающие кишлаки.

Действительно, Ферганская долина — золотое кольцо, которое было лакомым кусочком для многих „завоевателей" Азии и Европы.

К сказанному И. В Думовым я могу прибавить следующее:

Ферганская долина — наиболее населенное, плодородное, наиболее богатое и наиболее живописное место Средней Азии. В ней произво-

дится основная масса хлопка всего Узбекистана. Хлопок здесь сеялся еще почти за 700 лет до нашей эры. В этой долине еще в древности были большие и богатые города, по ней проходили дороги мировой торговли.

„Фергана-жемчужина", „живописная Фергана" — так принято величать эту страну. В Фергане и сейчас есть города, похожие на сплошные сады, на их улицах стоит лесная прохлада и поют соловьи.

Но ошибочно думать, что всегда в этой стране солнца и зелени царствовали мир и благоденствие. Правда, так пытались иногда представить дело европейские писатели и так пели местные национальные поэты от Корана.

ЛЮДИ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

Ишан (духовное лицо, полусвятой) и его ученик—мюрид.

Эта долина густо полита кровью и слезами. Здесь проходили полчища азиатских завоевателей. Здесь властвовали угнетатели-феодалы. На перекрестках долины стояли полицейские русского царя.

Здесь проходили мировые дороги торговли не только хлопком, коврами и кожами, здесь проходили дороги работорговли.

Города вырастали на костях рабов. Гнет национальный здесь всегда шел рядом с гнетом социальным. Он держался силой оружия и религии. Коран держал трудящиеся массы в цепях косности и забитости, держал женщину в унизительнейшем положении рабыни под покрывалом, а всю страну — на положении почти абсолютной неграмотности. Все это относится к Ферганской долине, как и ко всей Средней Азии вообще.

К концу прошлого столетия сюда пришла власть русских царей, на штыках солдат и по приказу торгового капитала: хлопок. Для хлопка и ради хлопка из этой страны высасывались все соки. В Америке шла война Севера с Югом, ввоза хлопка в Россию не было. Это послужило одной из главнейших причин наступления российского империализма на Среднюю Азию.

И тогда продолжалась борьба, часто немая, так как только в наши дни стали известны более или менее полные материалы освободительных движений в Средней Азии: например „Андижанское восстание" против русских империалистов в конце прошлого века, волнения 1905 года, восстание 1916 года. Все эти движения имели главным образом национально-освободительную окраску. За полным отсутствием сколько-нибудь значительных слоев пролетариата здесь не было рабочего движения. Здесь не было и „жакерий" — серьезных крестьянских восстаний против феодалов-земледельцев.

В „прекрасной стране" массы страдали молча, задавленные кулаком и шариатом, или же боролись в мучительной разбросанности.

Зато сильнейшим образом положение изменилось после Октябрьской революции. Здесь впервые так ярко проявилось классовое самосознание рабочих и дехканских масс. Рабочие и дехкане — с одной стороны и феодалы с аристократией — с другой, бывшие иногда вместе в борьбе с русским империализмом, очутились естественно по разные стороны баррикад.

Средне-азиатские народности идут к социализму, минуя стадию капиталистического развития. Здесь создается социалистическая промышленность и впервые – громадные кадры национального пролетариата. Сельское хозяйство переводится на социалистические рельсы. Все это вызывает отпор и борьбу со стороны местной буржуазии — байства, националистской интеллигенции и духовенства, внутри страны и из-за рубежа.

Наиболее остро классовая борьба проявляется вокруг хлопка. Средне-азиатские народы — в едином союзе с другими советскими народами. Их основная хозяйственная задача — дать хлопок. И вокруг этой задачи наиболее упорна борьба.

О том, по каким своеобразным, многогранным и порою извилистым каналам протекает борьба в этой стране, было написано много интересного и еще больше будет написано.

Весна 1931 года играла решающее значение. Средняя Азия должна дать приблизительно в два раза больше хлопка, чем в прошлом году, и довести количество хлопка до покрытия потребности текстильной промышленности всего Советского Союза. Очерки о Ферганском кольце будут говорить о фактах и вещах, происходивших там в этот момент. Они не дадут общей картины хлопковой весны во всех ее масштабах и во всей системе. Здесь не будет больших цифр, серьезных обобщений и итогов работы. Это будут зарисовки отдельных эпизодов, сделанные одним из рядовых участников этой работы.

●

РАЙОН ПАХНЕТ РИСОМ

Большая дорога в Уч-Купрюк (по-русски это значит — три моста) начинается кокандским базаром, криками, расписными арбами, распряженными лошадьми. Здесь нанимаются арбы до Уч-Купрюка. Арбы ходят как автобусы; они едут только после того как наполнят свой кузов пассажирами. Если ехать в Уч-Купрюк со стороны Коканда, то первые десять километров за вами будет гнаться кокандский базар; по дороге будут итти дехкане с овцами, будут ехать бесконечные арбы, в разговорах будет склоняться „Кокан" и его базар — стариннейший, почтеннейший и знаменитейший во всех отношениях базар. Так было уже несколько столетий; в базарные дни на окрестных дорогах кокандщины всегда стояла особенно густая пыль... Это все будет, я говорю, если ехать со стороны Коканда, а оттуда же еще могут ехать в Уч-Купрюк корреспонденты, районные кооператоры, агрономы и ветеринары, гости города, пожиратели дорог и бесконечные нанимателн арб.

...Потом Коканд прекратится. На одном из перекрестков кишлачной дороги возникнет тишина. В ней будут скрипеть колеса, по сторонам будут стоять зеленые стены, это „тал" и „тут" — два дерева ферганских дорог — ива и шелковица. Сквозь них будут иногда желтеть кишлаки, на их окраинах стоят чайханы, в них будут петь перепелки.

Кишлак Трех Мостов начнется площадью, тихой и неожиданной как кишлачная тишина.

Я великолепно помню эту площадь; справа — белый домик райкома партии, слева — глиняные стены и чайхана. Посредине стоит огромный карагач, дерево, спускающее свои ветки на площадь.

Под деревом стоят две глиняные, растрескавшиеся могилы. Они сделаны в обычных формах мусульманского „мазара", высокие, с острым гребнем наверху. На могилах нет никаких надписей, и многие проезжающие через районный центр Уч-Купрюк, сейчас уж не знают происхождения этих могил на площади. Много могил разбросано по лицу узбекской земли. Это не только древние кладбища, — могилы брошены в кишлаки и города жестокими фронтами, дикими басмаческими рейдами, жестокими ночами, тревожными днями — сколько их было в Ферганской долине!

Под деревом сидят дехкане, приехавшие в райисполком. Они играют кожаными плетками и смеются. Оседланные лошади теснятся в тень дерева. Из ворот райкома идет бухгалтер Колхозсоюза, обязательно в подтяжках и обязательно в калошах на босу ногу. Он идет к чайхану начинать свой пятнадцатый чай. Это интересная чайхана. Она стоит у живописного моста, над зеленой и медленной водой арыка. Всегда на деревянном помосте у ее дверей, над зеленой водой арыка, стоит самовар и сидит несколько обязательных стариков с великолепными белыми пятнами на зелени улицы.

Недавно я проезжал через эту площадь. Мы ехали в горные долины Ферганы, проездом через Уч-Купрюк. Мы остановились у моста, и я направился к чайхане. На помосте сидели молодые парни и девушки, беседуя со стариком. Это были инструкторы по шелководству, прибывшие на практику. Старик рассказывал о могилах на площади.

— Что такое басмачи? — говорил он, разводя руками.—Джигиты с ружьями. Их почти нет уже. Их было много. Эти люди приходили из гор и из ночи. Здесь похоронен мятущийся человек, большой человек, начальник советской власти. Он хотел перевернуть землю, реки повернуть в обратную сторону, а цветы расти так, как он хочет. Я стар. Я не знаю, кто прав, кто виноват. Но этот человек носил на себе большую красную печать. Басмачи — разбойники. Я не знаю, почему они убили его. Может быть их послали горы, обрушившиеся на этого человека, ночь направила их руку?.. Вот его могила. У него была красавица жена. Хоронили его с медной русской музыкой.

Эта речь была построена достаточно хитро, туманно и цветисто. Я отошел от чайханы. Я знаю историю этих могил; они возникли при мне. Это было в самый разгар весенней кампании. Свежие поля. Сочная шелковица. Набухающая трава. Я в первый раз тогда получил урок распознавания растений — сложного искусства спецкора — политической ботаники полей.

●

Мы кончали обследование тракторного парка в окраинных кишлаках Кокандского района. Мой спутник на крыльце разбирал свою сумку, перегруженную записями, бумажками, какими-то картами. Мы должны были перебросить в соседний Бувайдинский район, центром которого был Уч-Купрюк. Я вышел на дорогу и поднялся на пригорок, кончающий большое поле. Вечер спускался на поля. Вдали блестела вода рисовых посевов. Комары кружились над ними.

Из-за поворота дороги показался человек в черной шапке и черном пиджаке; я заметил красный бант, приколотый к его пиджаку. Он шел вдоль поля, внимательно его разглядывая.

— Добрый вечер, — сказал он на ломаном русском языке. Смотрите погоду? Я тоже гуляю. Смотрю — неважная картина. Ай, плохая картина.

Он подошел ко мне. Это был полный пожилой узбек высокого роста в пиджаке и в кепке — очевидно советский работник.

— Вот наши поля,—сказал он.—Это уже Бувайдинский район. Как вам нравится этот район? Ах, джюда яман район.

— Я не вижу района, — неопределенно ответил я.

— Ты же смотришь район, товарищ!

Я посмотрел на поле.

— Я вижу поле. Шелковица. Горы, рис. Так себе. Хорошо.

— Угу. Вы все смотрите район из бумажек канцелярий. Вы видите только в резолюции райисполкома, — он вспыхнул и выругался,— к черту резолюции! Не смотри бумажку, смотри на воду. Ты говоришь: горы, рис. Прелестная картина! В этой картине написана живая контрреволюция! Смотри, сколько здесь сеют риса. Мы научились узнавать район по запаху риса. Два дня как я переброшен в Бувайду из Коканда. Я приехал и сразу сказал. „В этом районе слишком пахнет рисом". Значит здесь кулаки и оппортунисты. Значит нет работы, значит плохие колхозы. Плохие люди.

Я знал, что значит рис в планах посева. Второй год шла отчаянная борьба за вытеснение хлопком пшеницы и риса с поливных земель Средней Азии. Обеспечить СССР хлопком. Колхозы сеяли хлопок. Кулаки пытались удерживать вековую культуру пшеницы и риса. За ними шел коран. Единоличники иногда колебались. Рис, этот сельскохозяйственный злак Азии, означал сейчас политику кулака.

Собеседник вынул, папиросу, закурил и сказал, затягиваясь:

ЛЮДИ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

Дехканин-хлопкороб.

— Я обошел пол-района. Мне не нужны бумажки. Дай, я думаю, посмотрю на поле. Я не видел тракторов. Я не видел уполномоченных. Я видел рис. Помни мое слово: это плохая картина.

И он ушел в обратную сторону.

— Это был Халилов, — сказал мой спутник.

— Халилов? Я слыхал про него. Старый большевик, краснознаменец. О нем говорилось во всей Кокандщине. Если о человеке говорят во всех чайханах, то он стоит разговоров. Это имя взвешивалось на пуды авторитета.

— Халилов. Халилов. Он был героем в Красной армии. Он не зря брошен сейчас заниматься хлопком в Бувайде...

Мой товарищ собрал свою сумку, и мы отправились к Бувайдинскому району.

Южная ночь спускалась быстро. Она нас застала в дороге у последнего кокандского кишлака. Мы не могли уже в темноте разобрать дороги. Темные силуэты деревьев стояли ровными рядами.

Вдруг впереди закодыхались какие-то темные фигуры.

— Ким?! — закричал чей-то грубый голос.— Сизга нима кира?

И одновременно грянул выстрел. Мы ответили, ругаясь, по-русски.

— Что надо? Кто такие? — сказал тот же голос, и три человека подбежали к нам.

Они схватили нас за руки, отобрали сумки и повели куда-то в темноту.

В дальнейшем я помню низкую комнату, освещенную керосиновой коптилкой. За столом сидели бородатые узбеки в халатах и тяжело смотрели на нас. Они все быстро говорили по-узбекски, и мы не могли понять из их разговора ни слова. Потом вошел молодой узбек. Он посмотрел на нас, потом начал рыться в сумках.

— Хоп! — воскликнул он, смеясь. — Все в порядке! Не бойтесь! Наш колхоз и актив бедноты поставили сегодня ночью заставу вокруг кишлака. Наш кишлак граничит с Бувайдинским районом. Коканд — район сплошной коллективизации — вы знаете. На днях будет в районе торжественный праздник завершения сплошной коллективизации. Но наши баи— кулаки—бегут в Бувайду. Бувайда кишит вооруженными кулаками. Они убегают ночью, бросая дома. Мы по собственной инициативе решили задерживать их.

Я вспомнил небывалый подъем колхозной волны, охватившей кокандский район. Зверства беглых кулаков, ненавидящих колхозы и хлопок, вызывали у колхозников злобу. В эти дни дело не обходилось без курьезов и перегибов. Были случаи самовольной организации колхозниками „красных обозов с кулаками", их везли в город, чтобы сдавать ГПУ.

Мы остались ночевать в колхозе. Из пленников мы превратились в гостей. На другой день мы ели плов и составляли предварительную статью о Бувайдинском районе. Мне из нее запомнилось такое место: „Бувайдинский район следует считать неблагополучным. Это резкий контраст с соседними районами сплошной коллективизации. Неблагополучно на полях и в некоторых районных организациях. Задание по увеличению хлопковых площадей не выполняется. Тракторы МТС стоят без плугов, а кон-

ные не используются. Кулачество, организуя басмаческие шайки, ведет бешеную кампанию против колхозов. Близость гор и большая территория района создают благоприятные естественные условия для маневрирования бандитов..."

Мы вступили в Бувайдинский район и, проведя день в одном из кишлаков, на утро отправились к Уч-Купрюку.

Войдя в него, мы увидели на площади странное оживление. Стояли толпы дехкан. Под деревом рыли две ямы. Через площадь пробегали люди с красно-черными повязками на рукавах.

Нас ввели в райком партии, и мы увидели в небольшой комнате два трупа, лежащие на столах. Один из них был в черном пиджаке и с красным бантом ордена на груди... Я узнал Халилова, краснознаменца Халилова, героя Красной армии, переброшенного на хлопок.

Он проводил собрание колхоза в кишлаке Найман. Во двор примчались конные всадники в масках. Один из них остановился против оратора.

— Так вот он, Халилов! — сказал он. — Ты организуешь колхозы. Хорошо же.

Кроме него убит молодой агроном Алимов. Басмачи умчались к горам...

Вот все, что я знаю о происхождении двух могил на площади под громадным деревом в Уч-Купрюке.

...Площадь эта большая и зеленая. В тот вечер на похоронах она была наполнена колхозниками. Напротив чайханы, у ворот плакала жена краснознаменца. Дул легкий ночной ветерок. Площадь была освещена фонарем трактора. Он рычал по-боевому, как машина, готовая к работе. В широкой полосе света стоял на земле письменный стол. С него секретарь райкома, очень молодой узбек, дрожащим звонким голосом говорил молчащей толпе:

— Вот наша кровь, пролитая проклятыми бандитами. Они нас не устрашат. Мы создадим новые колхозы, мы отомстим убийцам. Но мы скажем прямо, — он остановился и посмотрел на толпу: — мы не знаем, кто пойдет с нами и кто нет?

Толпа стояла молчаливой стеной бледных лиц в снопе тракторного прожектора.

Потом голос плачущей женщины прекратился. Жена Халилова вскочила на стол.

— Смерть этого человека, — сказала она, — нас не испугает. Я — дочь дехканина. Вы — дехкане. У этих могил дехкане решают — с кем они пойдут.

Из-за райкома партии всходила луна. Мы сидели у чайханы, над мостиком. С площади расходились демонстрации колхозников. Они шли в халатах, босиком, ровно размахивая руками.

— Посмотрите, — сказал мне сосед, — этот человек — бывший ишан. Ишан — духовное лицо, все равно, что мулла. Он несет красное знамя.

Я увидел полного человека, идущего во главе колонны мягкой качающейся походкой. У него было свежее лицо ребенка с будто приклеенными черными усами.

— Что же он — ишан с красным знаменем? — спросил я.

— Может быть, все может быть, бывает и так.

Ишан шел с непроницаемым лицом, поднятым кверху, как святой или барабанщик.

Он тоже был босиком и в халате.

Он одной рукой держал знамя, а другой размахивал, точно маятник часов...

ЖАЛОБЫ НА НЕДОСТАВКУ ЖУРНАЛА СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
ЛЕНИНГРАД, ПРОСП. 25 ОКТЯБРЯ, 3,
ОТДЕЛЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА ЦК ВКП(б) „ПРАВДА".

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „БЛАУ-РЕЙН“

С. МАРВИЧ

Рисунки ЕЦ

1 Движение через площадь прекратилось. Весь город собрался на площади у магистрата. Все свободные силы полиции поставлены цепью у подъезда окружного суда. Подтянутые, недоступные городовые напускают на лицо профессиональную хмурь; твердо расставив стянутые крагами ноги, они как бы врастают в землю. Эти ноги должны говорить о том, что цепь ни на сантиметр не подастся назад, не оставит оголенной дверь суда. Но сквозь эту хмурь, которая должна категорически заявить о непоколебимости свободных сил полиции, пробивается блуждающая неуверенность. Она промелькнула в беглом взгляде лейтенанта, она была подхвачена унтер-офицером, она передалась рядовым городовым. Боевые каски, чугунно расставленные ноги, винтовки, грудь, накрест перетянутая пулеметными лентами, грудь, во многих случаях отмеченная отличиями за мировую войну и за выслугу лет,— и все же лицом к лицу с собравшимся на площади городом свободные силы полиции чувствовали себя неважно.

Все свободные силы полиции поставлены цепью у подъезда окружного суда.

Да, они всему городу закрывают вход в залу суда. Над аркой тяжелой двери, на старом камне выбиты старые слова: „Милость и правда входят сюда“. Милость и правда... Однако город не может сегодня войти в эту тяжелую дверь. Город остался на площади. Город шумит, рокочет. Восемь лет с того самого дня, когда фашисты собирались взять власть и не взяли и, расстроив ряды, отхлынули за заставу, не бушевал так город. Восемь лет... И снова весь город — на площади.

Фашисты опять на площади. Они успели напялить на себя свое коричневое облачение. Они построились правильным четырехугольником, они прячут в рукаве дубинку из тугой резины. Они развернули свои знамена. Дюжие парни кладут литые руки друг другу на плечи. На эти руки кладут сбитый из досок квадрат. Лощено-бритый сухонарый человек в черепаховых очках вспрыгивает на квадрат и подносит рупор ко рту.

Вот над площадью фашистский вожак, цезарь провинциального калибра. Квадрат — уже не квадрат, а щит, на который вознесен руками преданного легиона его вождь—магистр философии, обер-лейтенант в отставке, корреспондент государственного банка — Эрих Вандерфельд. Он стоит, широко расставив ноги. Щит—уже не щит, а твердыня государства, которой должны овладеть коричневые легионы. Черепаховые очки Вандерфельда блестят устрашающе. Прорезывая площадь, не-

сется из рупора металлический голос магистра Вандерфельда:

— Если окажется правдой, что владелец вон того завода, — рука магистра философии указывает на недымящие трубы по ту сторону реки, — предавал государство, если окажется правдой, что в великой и несчастной для нас войне Конрад фон Блау изменял родине, если окажется правдой, что он продавал оружие нашим врагам, мы не простим ему ни измены ни крови наших братьев. Мы всенародно повесим его вот на этой липе.

Магистр философии величественно указывает на могучее старое дерево на самой середине площади.

— Это дерево видело три столетия нашего города. Оно увидит на своих ветвях труп презренного негодяя. Вы будете возить сюда детей и говорить им: „так расправляются с предателями родины рядовые великого легиона Адольфа Гитлера".

Восторженно ревут расставленные у подножья щита рядовые всегерманского легиона Гитлера. Восторженно и растроганно сморкаются в платок их жены и сестры.

Когда смолкает рев легионеров и, как последние выстрелы затихающего сражения, падают заключительные хлопки, из другого рупора, с другого конца площади несется звонкий, насмешливый голос:

— Раньше чем повесить Конрада Блау, верните ему те деньги, которые он пожертвовал вам на постройку фашистского клуба.

Хохот сотрясает площадь. Магистр Вандерфельд спрыгивает вниз со щита. Его не видно. Момент величия растоплен неистовым хохотом. Легионеры расправляют обтянутые коричневой рубашкой плечи, готовые ринуться в атаку на тот конец площади, но команды нет, и они задерживаются.

С треском распахивается окно второго этажа. Дряхлый старик с блуждающими глазами, в полосатом халате, поднимает обе руки, прося внимания. Голос старика дребезжит, как расшатанная оконная рама во время проезда пожарной команды:

— Господа, позвольте внести поправку. Древние германцы не вешали изменников, а рубили им правую руку. Позор был виден до конца жизни предателя.

Магистр Вандерфельд готовится героически вспрыгнуть на щит, но с другого конца площади несется тот же звонкий, насмешливый голос:

— Честь отрубить правую руку миллионера Блау будет предоставлена вам, его почетному пенсионеру, воспитателю его детей, вам, господин Цурмюлен.

Снова неистовый, уничтожающий хохот. Дряхлый старик отступает внутрь комнаты.

Хозяином времени становится та, другая часть площади. На той стороне стоят люди, которым декрет президента-фельдмаршала навсегда запретил появляться на улицах Германии. Свободные полицейские силы видят это нарушение, видят — и не рискуют его покарать. Извлечены из сундуков запретные гимнастерки ротфронта. Рука, которая в свой день и час вскинет на плечо ремень винтовки, рука, которая возьмет в этот час власть, сжимается в кулак. Клич, облетевший все города Германии с запада на восток, с моря до чешской границы, летит навстречу коричневым легионам магистра Вандерфельда, навстречу прикованным к месту свободным силам полиции. Этот клич не остановить. Коричневый легион Вандерфельда бестолково толчется на месте, как отупевший, потерявший направление табун; свободные силы полиции пыжатся, надуваются, как только возможно, чтобы показать всему городу уверенность в своем праве защищать закон престарелого президента-фельдмаршала, и также остаются на месте. Нет, минута не такова, чтобы свободные силы полиции могли оголить дверь суда и ринуться в самую гущу города, хватать и валить на землю одетых в зеленые гимнастерки людей.

Раз за разом облетает боевой клич всю площадь из одного конца в другой. И вот с того конца отвечают магистру Вандерфельду. Там расставляют стремянку, и человек с молодым еще лицом, но седыми волосами, с шрамом от сабельного удара поперек лба, подносит ко рту рупор.

— Товарищи! Вы, что четыре года заполняли своими телами окопы на западе и востоке, и вы, которых капиталисты растят для новой войны! Жены убитых, матери замореных голодом детей! Вы, беспомощные инвалиды и здоровые парни! Сегодня чиновники министерства юстиции будут судить господина Конрада фон Блау. Конрад фон Блау — крупный миллионер и великий патриот. Двадцать лет тому назад кайзер, доживающий в Голландии свои старческие годы, назвал Конрада Блау вторым солдатом Германской империи. Неделю тому назад наша коммунистическая газета доказала, что почетное звание второго солдата Германской империи не помешало пушечному королю и великому патриоту Конраду Блау продавать во время войны оружие врагу. Коммерческие расчеты второго солдата Германской империи были сильнее его патриотического долга. Сегодня Конрада фон Блау судят в пустом зале. Ему не страшен суд старых чиновников. Ему не страшны угрозы магистра философии Вандерфельда. Ему не страшно неприятное напоминание ученого доктора господина Цурмюлена. Ну как поднимется на Конрада Блау рука магистра Вандерфельда! Эти коричневые молодцы — его постоянные гости. Он построил для них дом со спортивными залами, дешевым рестораном, душами, читальнями. В этом новом доме молодцы магистра Вандерфельда набираются в свободное время свежих сил, чтобы потом, в нужный для Конрада Блау час, сбрушивать на наши спины тяжелые дубинки. Товарищи! Вся гитлеровская армия служит дымовой завесой главным силам буржуазии. Пустыми обещаниями Гитлер обволакивает мозги ошалевшего от разорения лавочника, конторщика, который смертельно боится, что вот-вот закроется его контора, отсталого рабочего, которого уверили, что коричневые банды сумеют обеспечить хлеб, кров, труд каждому немцу. Товарищи! Мы не первый день знаем, что все гитлеровское предприятие выросло на деньги миллионеров. Гитлер знает, зачем он им нужен. Они ждут, что он, как плотина, задержит отход миллионов рабочих влево, в наши ряды. Товарищи! Ни чиновники юстиции ни все эти коричневые молодцы волоса не снимут с головы

Магистр философии выкрикивает по-петушиному, собрав весь свой голос...

миллионера Блау. Ученый доктор Цурмюлен, который предлагает наказать Блау по закону древних германцев, получает из кассы миллионера за то, что достойным образом вырастил его сыновей, шесть тысяч марок в год. Это паек сорока безработных. Товарищи! В теперешней Германии нет силы, которая покарала бы миллионера Блау. Адольф Гитлер — это штатный шут крупного капитала. Шут иногда может дерзить хозяину, но пусть он попробует укусить ту руку, которая бросает ему объедки с барского стола! Шута пинком ноги выкинут за дверь. Так бросьте же ваши громкие слова, ваши пышные угрозы, магистр философии Вандерфельд. Они не стоят разбитой пивной кружки. Товарищи! Восставший пролетариат и больше никто — расправится с миллионером Блау и со всем племенем миллионеров. Этот день неизбежно придет. Мы уверенно к нему готовимся. А пока мы каждый день доказываем фактами всю подлость, всю лживость теперешней системы, которую буржуазия называет демократической. Магистр Вандерфельд говорит, что его молодцы повесят Конрада Блау, если суд осудит его. А мы подойдем к судейскому столу и скажем чиновникам юстиции, что они прячутся от правды и об этом узнает весь мир.

— Нога ваша не перешагнет порога этого зала!—по-петушиному выкрикивает, собрав весь свой голос, магистр философии Вандерфельд.

— Магистр философии, идите за веревкой для вашего хозяина! У него сегодня в доме большая стирка.

Так громко смеялись на этой площади в старые времена, когда тут собирались масляничные карнавалы. Героический магистр становится забавен, как жалкий пьяница, который беспомощно ловит кольцо на карусели. Весь город, собранный на площадь, заливается неудержимым смехом. Издали кажется, что во всю силу своих могучих легких, схватившись за бока, хохочет, фыркает, грохочет соборный орган.

2

Узкая улица ведет к площади. Когда улица пуста, — а сейчас она совершенно пуста, — на одной ее стороне отлично слышно, что говорят на другой. Поэтому двое, идущие по правой стороне, говорят вполголоса. По этой же причине и те двое, что идут по левой стороне, говорят тише, чем обычно.

Первые двое уже не молоды. Но один из них безусловно был в жизни молод. Про другого этого нельзя сказать. Он — этот другой — глядит перед собой сухо, с явным намерением ничего не замечать, чтобы не отвлекаться от своих мыслей. Золотые очки сидят на его носу так прочно, будто они росли вместе с ним. Костюм, не новый и не поношенный, облегает безжизненными, навсегда определившимися складками его длинное тело. Рука с тростью движется геометрически-правильно. Каждое ее движение в точности повторяет размером предыдущие. Спутник этого прохо-

С треском распахивается окно второго этажа...

жего — небольшой, плотный, с подвижным мягким лицом, со старомодной цепочкой вдоль несколько перешагнувшего общепринятые границы живота. Спутник чем-то обеспокоен. Шелестя люстрином хорошо освоенного, отдающего прочно нажитым уютом летнего пиджака, он забегает вперед, несколько раз зажигает и забывчиво тушит коротенькую трубку.

Высокий не говорит, а словно читает видную одному ему книгу.

— Меня командировал сюда центральный комитет потому, что работа местного комитета, в связи с этими событиями, нам кажется не вполне отвечающей крайне сложным политическим задачам данной ситуации. Отвечает ли действительности выдвинутое против Конрада Блау тяжелое обвинение или оно ни на чем не основано — нам, социал-демократам, незачем сейчас разбирать. Это — дело суда. Для нас гораздо важнее другое. Мы не должны допустить, чтобы коммунисты использовали этот процесс в своих партийных целях. Мы вступили в чрезвычайно напряженное время. На пороге — зима, которая, быть может, увеличит количество безработных до семи миллионов человек. В виду наших общехозяйственных интересов германский рабочий класс принужден нести некоторые совершенно неизбежные материальные жертвы. Возражать против них — это значит возражать против самой истории. И однако коммунисты толкают массы к активным действиям протеста. Сейчас, как никогда, нужны выдержка и умеренность. Массам труднее понять старую позицию социал-демократии, чем бесшабашные лозунги коммунистов, и на этом наша социал-демократическая партия теряет, мы надеемся, временно. Имейте в виду, каждая такая история, процесс Блау, каждая стычка рабочих с национал-социалистами увеличивают силы коммунистов. Это надо помнить. Поэтому вы должны всегда удерживать массы в границах умеренности, вы всегда должны взывать к их выдержке и дисциплинированности. Именно эти соображения диктуют социал-демократии необходимость поддержки правительства Брюнинга, так как иначе мы будем свидетелями самых кровопролитных столкновений между крайними политическими элементами, и исход этих столкновений не несет ничего положительного для дела демократии и социализма. Что вы сделали, господин доктор, для того чтобы укрепить нашу политику умеренности и выдержки?

С другой стороны площади раздается звонкий, насмешливый голос.

— Мы мобилизовали Рейхсбаннер, он сейчас на площади.

— Я говорю про другие меры. Центральный комитет считает, что пропагандистское орудие было вами использовано в самой недостаточной степени. За все это время вы не созвали ни одного массового собрания. Вы предоставили это коммунистам. Можете мне не доказывать, коллега, что очень неприятно в эти тревожные времена выступать на массовых собраниях с лозунгами сдержанности. Я это знаю на своем опыте. Я знаю это на опыте Кюнстлера. Я был на том митинге, на котором он выступал по вызову коммунистов. Для неразвитого человека гораздо интереснее слушать призыв немедленно складывать камни для баррикады, чем совет сохранять спокойствие. Нашему Кюнстлеру было не легко, но он выступал с большим достоинством, чему не мешало бы научиться его оппоненту из коммунистической партии.

Обрамленная старинными домами улица неровна. Ее давно пора выпрямить, но этого не позволяет совет по делам искусств. На улице застыла печать глубокой готики. В одном месте тротуары так сближаются, что и разговор вполголоса доносится до другой стороны. Тут надо умолкнуть до того места, где тротуары снова расходятся.

— Я признаю, господин доктор, что мы действительно многое упустили. Мы во-время не собрали наших сил и дали возможность развернуться вот этим... — Плотный человек в люстриновом пиджаке молчаливо указывает на двух прохожих по той стороне улицы.

Двое прохожих идут размашистым шагом. Оба перекинули вельветовые куртки на правую руку. Одному — лет двадцать пять. Другой — вдвое старше, но это видно главным образом из регистрационной тюремной карточки Моабита, откуда он выпущен всего две недели тому назад. Он крепок и прям, и по-молодому испытующе смотрят его обрамленные рамкой незримого утомления глаза. Вечный, небледнею-

щий загар лежит на его лице. Оно опалено, это лицо, порохом Вердена и порохом январских спартаковских боев, пронзительными ветрами Балтики и морозами Москвы.

— Что за дурацкая улица! Конца нет. Знаешь, Курт, она напоминает угол двора в Моабите... Вы взялись за это дело крепко, Курт, но не сразу развернули его.

— Сказать по правде, я был ошеломлен этими документами. Конечно, ничего нового для нас не должно в них быть. Господа Блау будут заключать сделки с самим чортом. За высокий дивиденд они истребят всю Германию. Все это мы знаем, но в первую минуту мы просто были ошеломлены. Высокий, родовитый патриот переправлял во время войны оружие англичанам. Подумать только! Какой-то древний философ сказал, что ничему не надо удивляться...

— Ты слишком много думаешь о древних философах, Курт. Вы были ошарашены больше чем надо и упустили несколько горячих дней. А сейчас день — это великий срок. Но это удалось нагнать. Вся организация на ногах, это главное. Скажи, как свидетели?

— Вчера приехали товарищи из Голландии. Они привезли показание Людвига Платтена и вещественные доказательства.

— Когда они выступают в суде?

— Сегодня.

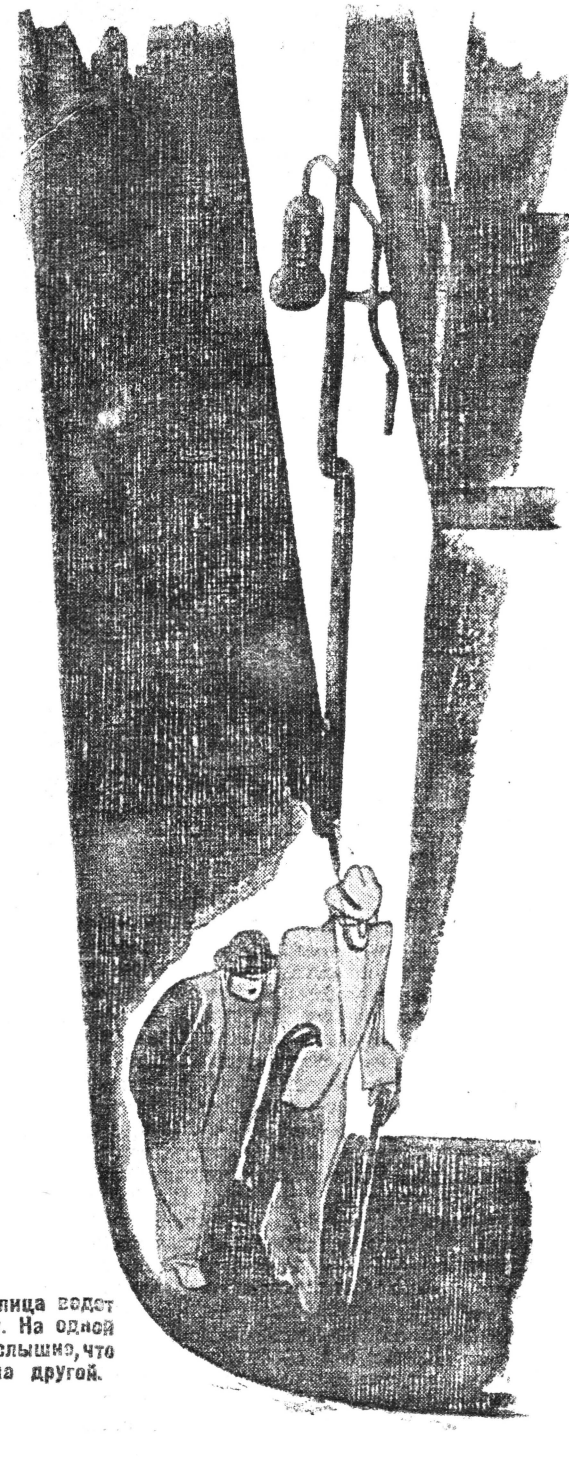
— Что гитлеровцы?

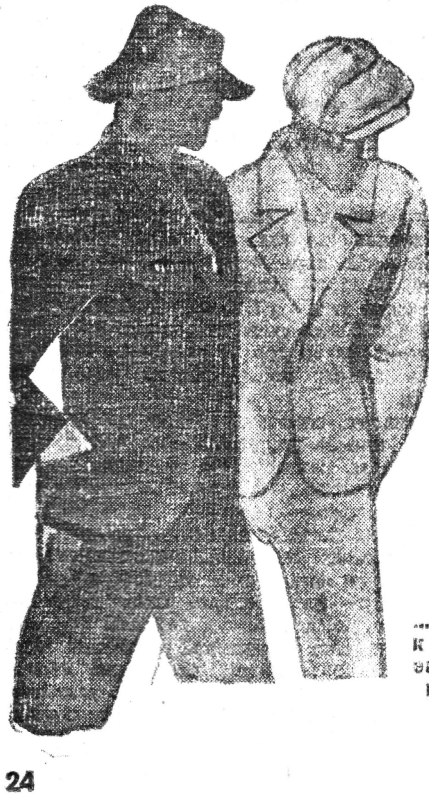
— Стянули на площадь свои штурмовые колонны, но в общем растеряны.

— Можно ожидать всяких провокаций.

— Мы к этому готовы.

— Смотри, Курт, по той стороне идет эта тощая сосиска в золотых очках. Мы ехали из Берлина в одном поезде. Это — доктор Бариш, ученый педант. Его учености хватает, чтобы подвести теорию под всякое предательство социал-демократов. Трудно сказать, кого еще так ненавидят берлинские рабочие. На массовые собрания его уже не выпускают. Нельзя его показывать рабочим. О, если б он видел,





... Узкая улица ведет к площади. На одной ее стороне слышно, что говорят на другой.

как Нейман посадил в лужу ихнего идола Кюнстлера. Редкое зрелище!

По середине улицы — в этот исключительный день можно ходить и по середине — идет равнодушного вида человек. Вчера он съел мороженого на легком летнем сквозняке в кондитерской фрау Герц и жестоко простудился. У него попеременно стреляет в правое и левое ухо. Когда стреляет с правой стороны, правое ухо перестает действовать; когда стреляет в левое ухо, равнодушный человек начисто отрезан от этой половины мира. Равнодушный человек начинает страдать, но не от простудной стрельбы, а от раздирающего душу недоумения по поводу крайне противоречащих фраз, которые падают в его сознание с правой и левой стороны улицы.

Монотонный дидактический голос с одной стороны улицы доносит до простудившегося человека:

— Наш Кюнстлер говорил с большим достоинством. Выпады этих политических мальчишек не могли его задеть.

Частая простудная стрельба задерживает дорогу дидактическому голосу, но зато прочищается второе ухо, и неожиданно слышит раздираемый недоумением человек второй, не монотонный, а живой голос:

— Этот холуй Кюнстлер сбежал из Спортпаласа. Он даже отказался тогда от заключительного слова. Противно было глядеть на него.

Дидактический голос:

— Можно выбрасывать какие угодно лозунги, но немец есть прежде всего немец. Коммунисты развратили своей демагогией отчаявшуюся, темную часть нашего пролетариата. Это — весь их успех.

Живой голос:

— На выборах в Вюртемберге эти канальи социал-демократы разгромлены. Мы скоро выпускаем сборник писем старых рабочих, порвавших с социал-демократами.

Монотонный голос:

— Да, мы поддерживаем правительство Брюнинга, но ни на минуту не забываем, что мы — социалисты.

Живой голос:

— Эти прохвосты скатились до последней ступеньки. Вчера они уверяли, что поддерживают Брюнинга только для того, чтобы в правительство не сели фашисты. Сегодня они уже готовы поддержать коалицию Брюнинга с Гитлером, завтра они поддержат одного Гитлера, послезавтра — Вильгельма.

Крайне учащается стрельба в ушах идущего по середине улицы человека. Дальше он слышит уже не целые фразы, а только короткие отрывки фраз:

— Господин доктор... Курт, посмотри на этого бонзу... Да, господин доктор, наша позиция истинных социалистов тяжела, но это единственно возможная для нас теперь позиция... Курт, смотри, этот толстяк так волнуется, что сунул зажженную трубку не тем концом в рот... Тяжелый крест, тяжелый крест, господин доктор, но политическое достоинство — прежде всего, я понял вас... Эти шаркуны потеряли всякое чувство меры, их желтейший вождь Тарнов сиял, как официант, получивший на водку, когда Шахт публично жал ему руку... Наши потери чувствительны, но временны, господин доктор... Мы их лупим на каждом заводе, Курт... Рано быть могильщиками капитализма, кризис будет пережит, и капитализм вернется к высоким показателям. Об этом пишет старый Карл... Каутский потонул в своей собственной лжи. Его последняя книга, Курт, — образец старческого идиотизма и еще чего-то. Я читал ее в Моабите и не мог понять — только ли это доведенная до чудовищных пределов ложь, или слабоумие, развившееся на почве долгой профессиональной лжи.

Нет, взаимная противоречивость разговоров, доносящихся с правой и левой сторон улицы, куда ужаснее этой перемежающейся стрельбы. Простуженный человек решительно ускоряет шаг, чтобы вырваться из этого круга будоражащих его сознание слов. Он почти бежит и скрывается в первом переулке.

3

Узкий, похожий на гроб, полутемный зал. Маленький, вросший в огромное сафьяновое кресло, председатель суда. Судья испуган этим делом,—ничего похожего не было на его столе за тридцать пять лет службы в министерстве юстиции, — этой бушующей, как прибой, площадью. Суд заседает под охраной свободных сил полиции. Этого также никогда не было в его практике.

Судья подавлен тяжестью событий. Но судья знает, что ни на минуту не должно его покинуть достоинство холодного законника, бесстрастного оценщика преступлений, недосягаемого для всех сил, которые могут поколебать его решения.

Судья решает заявить о своем достоинстве судьи раньше, чем начнется деловая часть необычайного в его жизни и службе дня.

Тронув карандашом бронзовый колокольчик, судья обращается к залу с предварительной речью.

— Значительность дела, которое нам предстоит сегодня разобрать, ясна для каждого. Это дело взволновало множество людей. Причины такого волнения понятны. Они вызваны чувством патриотизма, любви к нашей родине. Однако я не могу умолчать о том, что в пылу страстных политических споров это волнение дошло до некоторых крайностей. Мне приходилось слышать и читать о том, что предъявлено тягчайшее обвинение господину Конраду фон Блау. Я должен с самого начала заявить, что такого обвинения в делах суда нет. Наоборот, господин Конрад фон Блау обвиняет редактора коммунистической газеты „Рабочее слово“ в клевете. Суд должен выяснить, является ли клеветой известная нам всем статья, появившаяся на днях в указанной газете. Если это клевета, то суд покарает виновного. Если же элементов клеветы не будет найдено, суд это установит, и этим его обязанности заканчиваются. Что же касается сути упомянутой статьи, то дела такого рода неподсудны данному суду. Их разбирает Лейпцигский верховный трибунал по делам об обвинении в государственной измене. Мы слушаем дело о клевете. Мы сознаем всю важность этого дела и разберем его в обстановке, очевидной для каждого, не лишенного объективности...

— Да, и поэтому вы выбрали самый маленький зал, чтобы поменьше людей видели вашу

объективность! — раздался голос с задней скамьи.

Судья содрогнулся, но только внутренно. На лице у него—ледяная непроницаемость. Он возвышает голос:

— Я должен сказать, что политические споры не достигнут суда. Суд не допустит в этом зале никаких демонстраций, от кого бы они ни исходили. Стороны на месте? Обвиняемый господин Клаус Штремер, займите место. Истец господин Конрад фон Блау представил свидетельство о болезни, его интересы в суде представляет адвокат Бернариус...

— У Корнада Блау разболелся живот. Он сидит на манной каше.

— Призываю к приличию лиц, занявших задние скамьи... Свидетели, прошу подойти к столу и дать торжественное обещание в том, что будете говорить суду исключительную правду. Что такое, вы представляете суду новые документы? Об этом надо возбуждать специальное ходатайство.

— Этот документ подписан двадцатью двумя тысячами рабочих — граждан нашего города. — Голос крепнет, он раздвигает стены похожего на гроб зала; судья растворился в огромном кресле, и уже нет и этого кресла. Слова падают, как удары молота. Все смолкло вокруг, но побеждающе слышен приговор миллионов. Рушатся пожелтевшие от времени колонны, ослепительный свет врывается сверху. Будущее, завтрашний непреложный день железными шагами входит в старый зал. Обжигающим дыханием урагана веет от свитка, который двадцать две тысячи рабочих швырнули на судейский стол.

— От вашего суда Блау уйдет. День, когда мы будем судить Блау и весь его класс, еще не отмечен в календаре, но он близится и скоро вырастет на пороге вашего мира, — ударяют по каменным сводам слова приговора.

Тут, как из тумана, протягивается к бронзовому колокольчику сухая старческая рука. Сафьяновое кресло снова стоит на своем месте, и снова рождается в нем тщедушное тело судьи.

— Свидетель, кто дал вам право на чтение этой бумаги? — в ледяном голосе сквозит трещина нервной неуверенности. — Я предупредил вас, что не допущу никаких политических выступлений. Вы будете выведены и оштрафованы за неуместную выходку.

— Я исполнил поручение двадцати двух тысяч рабочих. Теперь могу уйти.

— Я прошу суд ознакомиться с одним документом.

— С каким документом, обвиняемый Штремер?

— С документом, который только что привезен из Гааги. Я прошу огласить его.

Судья принимает пакет. В нем — несколько сложенных листов бумаги и небольшой металлический предмет.

— „Дезертировавший из германской армии рядовой 43-го артиллерийского, германский гражданин Эрих Дицге 19 февраля 1916 года умер от голодного истощения в Гааге в госпитале Армии спасения имени апостола Павла". Обвиняемый Штремер, суд не допрашивает мертвых.

— Я прошу извинения, господин председатель, там имеется засвидетельствованное голландскими властями показание покойного Эриха Дицге. Оно имеет непосредственное отношение к настоящему делу. Для выяснения обстоятельств, связанных с этим показанием, прошу допросить прибывшего из Гааги свидетеля ван Требена.

— Суд удовлетворяет ваше ходатайство. Свидетель вам Требен, дайте суду торжественное обещание. Так. Что вам известно по настоящему делу?

— После смерти Эриха Дицге его показание хранилось в архиве госпиталя и было забыто. Случайно оно было обнаружено одним из наших товарищей.

— Суд оглашает показание покойного Эриха Дицге. Оно... гм... носит несколько претенциозный характер.

Декларация умершего солдата Дицге:

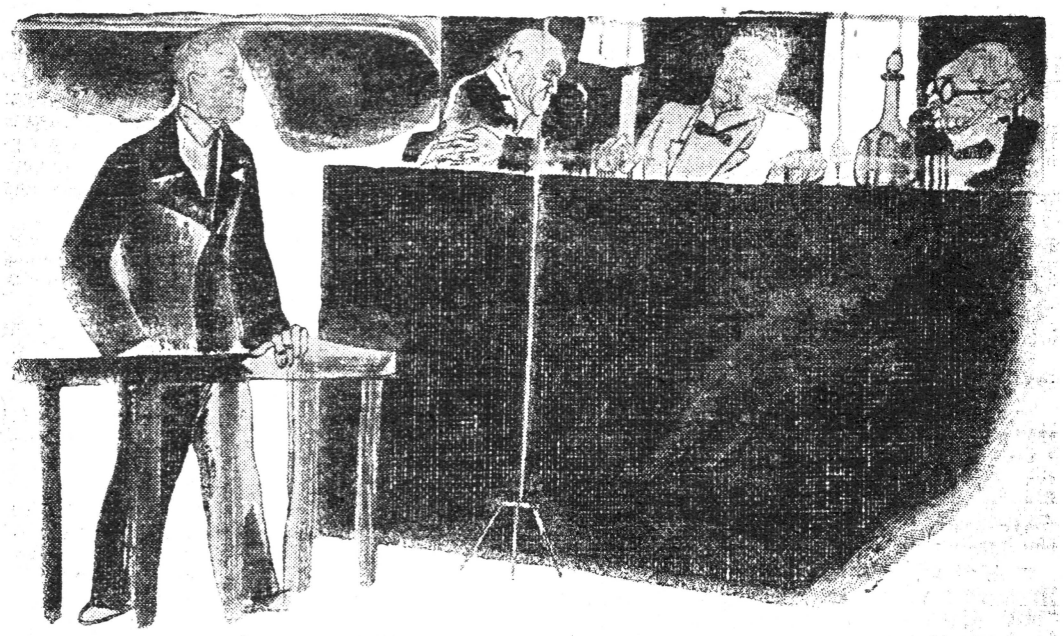
„Зимнее солнце падает на больничные подушки, на белые стены палаты. Я, дезертир германской армии Эрих Дицге, пишу нетвердой рукой. Я знаю, что каждое движение укорачивает мои и без того недолгие минуты. Но и эти последние минуты мне не дороги. В чужом городе, на больничной койке, я — одинокий, забытый, жалкий, раздавленный войной человек, дезертир, спешу записать мои последние мысли. Мое, наполовину истребленное войной поколение еще молчит, оно еще только копит в груди горючие слова. Я верю, я знаю, что эти слова вырвутся наружу, закипят, зальют весь мир, и с этим днем я сливаю свой слабый голос..." Обвиняемый Штремер, но ведь это только мысли дезертира германской армии! Какое они могут иметь отношение к делу?

— Я просил бы суд не спешить с заключением. В показании покойного Дицге имеется чрезвычайно важный для дела фактический материал. Я надеюсь, суд проявит известную снисходительность к солдату германской армии, хотя и оставившему его ряды, за то, что он предпослал фактам мысли, которые так глубоко им выстраданы. Ведь это мысли его поколения.

— Обвиняемый Штремер, суд не нуждается в напоминаниях о необходимости сочувствия молодому поколению, которое героически вынесло на своих плечах чудовищное бремя войны. Каждый умудренный годами немец носит в груди это сочувствие.

Продолжается чтение представленного обвиняемым Штремером документа:

„Ураганный огонь продолжался четыре дня. Наша и соседняя батареи были разгромлены, наполовину засыпаны землей. Нас осталось в целости пятеро и одно орудие. Когда перестрелка прекратилась, я почему-то обратил внимание, что одно орудие стоит с оттянутым замком. Мертвый бомбардир лежал у колеса. Очевидно он был убит во время зарядки. Мы принялись за уборку трупов. Я подошел к орудию закрыть замок и случайно заглянул в канал орудия. Меня окликнули товарищи, но я не слыхал их. Я видел сквозь опушку небо, легкое облачко, солнце, жаворонка. Я видел спокойный, улыбающийся мир. Я на минуту забыл о войне, словно ее и не было. Но вот в орбиту, которую замыкало жерло пушки, влетела другая птица. Она поплыла рядом с жаворонком. Я услыхал ее стрекот. Это был неприятельский



— Обвиняемый Штремер, суд не нуждается в напоминаниях...

самолет. Тогда я пришел в себя и увидел, что созерцаю безмятежность природы сквозь жерло пушки, среди искромсанных тел вчера еще живых сверстников. И тут я решил бежать. Мы, уцелевшие, были представлены к Железному кресту, но я не дождался награды...“ Обвиняемый Штремер, это все еще только мысли, только впечатления дезертира.

— Я прошу извинения, господин председатель, вы подходите к фактическому материалу.

— Ну, послушаем, что скажет в этой части дезертир Эрих Дицге. „Через две недели я пробрался в Голландию. А еще через полгода, слоняясь безработным по улицам Гааги, я встретился с моим дядей, бухгалтером акционерного общества „Блау-Рейн“, Вильгельмом Кюнцелем, приехавшим в Голландию по делам фирмы. Я вырос в его доме. Кюнцель считал меня погибшим, но не обрадовался тому, что я вернулся к жизни. Он оттолкнул меня, как дезертира, как презренного человека. Я видел, что это усилие ему далось не легко. Чтобы встретиться с ним еще раз, я следил за ним и незаметно ходил за ним по улицам, и неожиданно я открыл другое. Я, бездомный дезертир, выследил ближайшего помощника Конрада фон Блау, господина Рундфиша, который вел переговоры с представителями англичан. Я ходил за ними по пятам. Я понимаю английскую речь, я улавливал отрывочные слова. Я целыми днями думал над этими словами — и вдруг напал на след, который привел меня к открытию. В ту минуту открытие показалось мне странным, но от него никуда нельзя было уйти. Случайно мне удалось получить работу на товарной станции. Шла спешная разгрузка прибывшего из Германии состава. Мы выносили из вагонов в пакгаузы тяжелые ящики. В этих ящиках звенели какие-то металлические предметы. Однажды я увидел на выгрузке господина Рундфиша. Он тихо говорил с двумя англичанами. Я напряженно почувствовал, что держу в руках огромную тайну. Решение пришло само собой. Я сделал вид, что оступился, и свалил на камни тяжелый ящик. Ящик разбился, из него посыпались металлические трубки. Я сделал вид, что я сам упал, и незаметно запихал в карман одну трубку. Рундфиш тотчас же ушел с работы, а меня в тот же день перевели на работу в другой угол станции. Ночью я пробрался к пакгаузу. Я знал, что веду опасную игру, что меня могут незаметно подстрелить, но опасность увеличивала мою решимость. У пакгауза стоял порожний состав. Работало удвоенное количество грузчиков. Они принимали в вагоны те самые ящики, которые мы утром сдавали в пакгаузы. Грузчики работали в полном молчании, но с особой поспешностью. Они оборачивались как черти. Им видимо обещали хорошо дать на чай. Рундфиш и англичане были на погрузке. Я притаился за дверью конторы надсмотрщика пакгауза. Скорчившись, растирая окоченелое тело, я просидел у двери до утра. Я слышал, как надсмотрщик разговаривал со своим помощником:

„— Получатель груза, — говорил надсмотрщик, — велел переотправить его в Роттердам.

„— Что это собственно за груз? — спросил помощник.

„— Металлические трубки для сепараторов. Идут в адрес молочной компании „Лактеа Георгина“.

„— Сколько трубок для сепараторов?

„— Война затягивается. Наши фабрики сгущенного молока не успевают выполнять заказы.

„Утром, взяв расчет, я спешно уехал на последние деньги в Роттердам. Через день туда прибыл состав в адрес „Лактеа Георгина“. Я ни на один миг не упускал вагонов из вида. Они пошли в порт, — я отправился за ними. Рундфиш также оказался в Роттердаме, вместе с теми самыми англичанами. Здесь ящики были нагружены на английский пароход. Здесь я узнал

адрес настоящего получателя грузов. Ящики шли прямиком в Англию на военный завод. Но что же в них было?

„Я был глухо подготовлен к тем подозрениям, на которые навела меня встреча с Рундфишем. Вечером кондуктор товарного поезда, отправлявшегося в Гаагу, пустил меня за бутылку водки к себе в служебный вагон. Когда кондуктор ушел проверять тормоза, я вынул из вещевого мешка металлическую трубку, выпавшую из разбитого ящика, и еще одну вещицу, которую я унес с собою с фронта. Однажды шотландские стрелки, прорвав линию окопов, подошли к самой нашей батарее. Они забрасывали нас гранатами, пока их не отогнали. Потом я разрядил одну неразорвавшуюся гранату и из запальной трубки сделал держатель для карандаша. Вот эту вещицу я и сравнил с той трубкой, которую украдкой унес с товарной станции в Гааге. Тождество было полное. Теперь мне стали понятны отрывочные слова Рундфиша и англичан, слова, за которыми несколько дней подряд я невидимо охотился на улицах Гааги. Теперь уже не могло быть никаких сомнений в том, что Конрад фон Блау продавал военные припасы англичанам. Я помню, на фронте один солдат, отказавшись исполнить приказ начальства, сказал, что у пролетария нет отечества. Через двадцать четыре часа он был расстрелян, как изменник, по приговору военно-полевого суда. Солдат расстрелян, а Конрад Блау живет. Конрад Блау уважаем, хотя у него нет отечества. Солдат объявлен изменником, а Конрада Блау принимают с почетом в ставке императора. Имя солдата вычеркнули из списка сынов Германии, а Конрад Блау, заводы которого помогают англичанам истреблять немцев, занимает одно из первых мест в этом списке.

„Конрад фон Блау... Рундфиш... Но тут был замешан еще один человек, который никак не мог сделаться изменником. Это был мой дядя, бухгалтер конторы Блау, Адольф Кюнцель. Заподозрить его честность было невозможно. Тут я мог ручаться моей головой. Но зачем же он тогда приехал с Рундфишем в Гаагу? Зачем? На это у меня мог возникнуть только один ответ. Хозяева играли его преданностью, как только им было угодно. Кюнцель не мог знать настоящей цели его командировки в Голландию. Старика обвели вокруг пальца.

„Я решил снова найти Кюнцеля и открыть ему глаза. Он был еще в Гааге. Я несколько дней искал его. Я с ним встретился за несколько часов до того, как он уехал обратно в Германию. Он снова гневно отшатнулся от меня. И... у меня нехватило силы обрушить на его голову этот удар. Он сильно сдал за эти годы. Гуго, его единственный сын, с которым мы вместе выросли, был убит. Это его сразу на десяток лет приблизило к смерти. Он всегда носил с собой этот конверт с черной каймой из канцелярии полка. Он судорожно сунул руку за борт пиджака, извлек угол конверта и беззвучными губами, из которых старость уже высосала почти всю кровь, сказал:

— Гуго... там... отдал жизнь... а ты...

Мне хотелось ему крикнуть:

— Гуго убит твоими хозяевами, скажи это Конраду фон Блау.

„Но он стоял передо мной такой жалкий в своем негодовании бюргер, сгорбленный, как больная птица, слепой червяк, прячущий рядом с огромной, лютой тоской скудную утеху патриота, в которую боится не верить, обглоданный несчастьем человек. Мне стало невыносимо жаль его, и у меня не оказалось смелости открыть ему глаза. Я отпустил его таким, каким он был. Больше мы не виделись.

„Зимнее солнце чужой страны падает на больничные простыни, на исхудалые лица. Врач осторожно спросил меня, где живут мои родные. Я сказал, что я безроден. Теперь он спокойнее глядит на меня. Мир недожитых молодых радостей, в который я в последний раз глядел через жерло пушки, запутанный, темный, подавившийся своей липкой грязью мир, который теперь открылся предо мной, ты уходишь от меня. Еще три дня, еще неделя — и молодые студенты будут изучать на моем трупе строение человека. Но я не думаю о смерти. Война окончится, окопы будут засыпаны, перепаханы. Вернутся уцелевшие сверстники. Они вернутся в родивший нас мир, они швырнут ему в лицо железные слова. Они взорвут глухие стены его запутанных коридоров...“

В четырех стенах узкого, похожего на гроб зала тихо, как в глубоком колодце. И с самого дна колодца доносится тусклый голос:

— Фактическая сторона показаний покойного Эриха Дицге подошла к концу. Дальше идут его личные размышления о войне, о судьбе юношества. Если обвиняемому Штремеру почему-либо угодно, суд может огласить их.

Судья сказал: „если обвиняемому угодно“. Непоправимый стилистический промах.

Штремер отвечает жестко:

— Нет, я не вижу необходимости в этом. Наше время давно переросло последние размышления покойного Эриха Дицге. Я просил бы суд немедленно допросить военного эксперта, который вызван сюда.

— Суд удовлетворяет ваше ходатайство, обвиняемый Штремер.

Раз-два-три, майор сдвигает каблуки; раз-два-три, майор встает; раз-два-три, майор подходит к судейскому столу. Раз-два-три, майор берет со стола металлическую трубку, которую покойный Эрих Дицге тайком унес с товарной станции в Гааге, и футляр для карандаша покойного Эриха Дицге. Раз-два-три, майор слегка поворачивает между пальцами эти трубки, осматривает их твердо опытным взглядом. Раз-два-три, майор говорит:

— Устанавливаю полное тождество этих металлических трубок. Устанавливаю, что означенные изделия представляют собой запальные трубки для гранат. Означенные трубки изготовлялись заводом акционерного общества „Блау-Рейн“ по специальному заказу германского военного министерства для нужд германской армии по патенту № 1345, 1913 года.

Все скамьи коротко вздохнули, как по уговору. Раз-два-три, майор раздвигает каблуки, поворачивается и идет к своему столику.

— У меня последнее за сегодняшний день ходатайство к суду.

— Говорите.

— Я просил бы тотчас допросить господина Адольфа Кюнцеля, чтобы уточнить подробности встречи с его племянником, покойным Эрихом Дицге, в Гааге во время войны. Господин Кюнцель находится в зале суда.

Да, господин Адольф Кюнцель вызван в суд. Свидетель Кюнцель, пожалуйте к столу! Где свидетель Кюнцель?

Легкий шопот пробегает по залу. Люди оглядываются назад, обыскивают глазами ряды соседей.

— Что вы хотите сказать? — обращается председатель суда к высокому пожилому человеку, который неожиданно приближается к его столу.

— Я видел, как господин Кюнцель торопливо ушел из суда минут десять тому назад.

4

Пустой холодный свет падает в комнату. И комната, в которой прожито тридцать лет, кажется черной. Все вещи вдруг стали посторонними, ненужными. Вот этот шкап из лакированного дерева с откидной доской, заменяющей письменный стол. Этот шкап когда-то был событием для семьи. Его появление говорило о том, что произошло событие, поднявшее главу семьи на следующую ступень общественной лестницы.

Теперь этот шкап казался чужим, нелепым, неизвестно зачем попавшим сюда. Неужели так можно было радоваться этому хламу!

О, он не поколебался бы искрошить, сжечь эту мишуру, владевшую всем его веком, всем его трудом, вдребезги разнести весь этот дом, лишь бы вернуть частичку его молодой силы. Она заставила бы загреметь его слабый голос, она закалила бы его неожиданно родившуюся ненависть, зажгла бы ею чужие сердца. Толпы людей, отдавших свои лучшие годы этому тесному, иссушающему миру мелких забот, проснулись бы, как проснулся он. Он прыжками сбежал бы с этой темной лестницы и пошел бы, пошел бы...

Старик хватается за сердце и опускается на стул.

Ненависть сменяется усталой болью. Старик достает плотный большой конверт. Он держит в руках портрет. Юноша с зачесанными назад волосами, с чуть насмешливыми глазами, с поднявшейся слегка правой бровью смотрит на него. Он переводит глаза на обрамленный каймою четырехугольник из глянцевитой бумаги и читает, долго читает эти невероятные слова: „27 апреля 1916 года... Вогезы... Высота 314... Пал смертью славных...“

Он снова переводит глаза на беззвучно смеющегося юношу и, с лихорадочной быстротой проглотив колючую слезу, говорит одними губами:

„Гуго, мой мальчик... Я не стою твоего прощения. Ваши отцы оказались круглыми колпаками. Они не имели права быть отцами или говорить, как отцы. У них не было самого главного — знания тех, кто управляет миром. Они предпочли нести на себе эти цепи, они продавали жизнь за лакейские радости. И... они выдали им вас с головой. Они гордились, когда вас отправляли на убой. О, Гуго, лучше бы это случилось на много лет раньше, лучше бы там, на этих голых полях полегли мы, преступные, бездарные дураки, а ты и твои товарищи жили бы и дышали полной грудью и свернули бы шею великим негодяям“.

(Продолжение в следующем №)

ЗАБАСТОВКА НА ЦИНКОВОМ ЗАВОДЕ

РЕЙНЕРТ ТУРГЕЙРСН **Рисунки В. МУРЕТОВА**

В глубине одного фьорда в западной Норвегии стояло несколько одиноких крестьянских хуторов. Они стояли там сотни лет, переходя по наследству от отца к сыну. Крестьяне пахали, сеяли и жали по-старинке из поколения в поколение. Никто не думал о переменах.

Но вот пришло новое время с развитием капитализма и промышленности. Капитализм рос и креп, и рожал день и ночь новый капитал, который громко орал и требовал применения. Создавались новые проекты, основывались предприятия в лихорадочной погоне за прибылью.

И в наше тихое местечко Ванген, лежавшее в глубине фьорда, пришло новое время, потому что здесь были два очень выгодных условия:

[1] Описываемая в этом рассказе забастовка в действительности происходила в г. Одда, западная Норвегия. (Прим. переводч.)

Приехали шикарные люди.

великолепный водопад и хорошая гавань. Вода текла высоко с горы, падала с уступа на уступ и низвергалась вниз мощным водопадом. Крестьяне никогда не думали, что этот водопад имеет какую-нибудь цену. Он приводил в движение их маленькие мельницы, а изредка приезжали глупые туристы глазеть на него — вот и все.

Но в один прекрасный день в Вангене выплыло на свет несколько столичных инженеров. Они попросили разрешить им снять план. Пожалуйста! Крестьяне не имели ничего против. Начали измерять, чертить. Через неделю инженеры уехали. А затем приехали еще более шикарные люди. Они называли себя директорами и прибыли на собственном пароходе. Теперь крестьяне наконец поняли, что заварилось. Важные господа пожелали купить водопад и огромное количество земли вдобавок. Крестьяне и ахнуть не успели, как дело было покончено. Шикарные господа получили нужные документы, раскланялись и попрощались. Крестьяне остались беднее землей, но богаче монетой.

Прошло два года — два года, превратившие деревенскую идиллию в суетливый промышленный городок. В небо выросли заводские корпуса и множество домов. Водопад укротили. Где прежде вода падала красивыми каскадами, шли теперь трубы, оканчивавшиеся в одном из корпусов.

Завод начал работать. Со всех концов страны съехались рабочие. Смешались старые, опытные производственники и новички. Около тысячи человек получило работу. Создался профсоюз, в котором было около семисот членов.

Завод производил цинк по новейшим методам. Он принадлежал большому цинковому тресту, имевшему заводы в Польше, Канаде и в других странах. Это был по преимуществу французский и бельгийский капитал. Норвежские фирмы, фигурировавшие в качестве собственников, были просто марионетками.

В так называемом „кислотном цехе" работало около сотни человек. Работать там было очень опасно для здоровья. Цинк обрабатывался в больших чанах с ядовитой кислотой, и рабочим приходилось работать в противогазах, резиновых сапогах и резиновых перчатках. Один за другим рабочие заболевали, падали в обморок, кожа у них страшно изъязвлялась и носом постоянно шла кровь. „Кислотный цех" скоро получил название „ада".

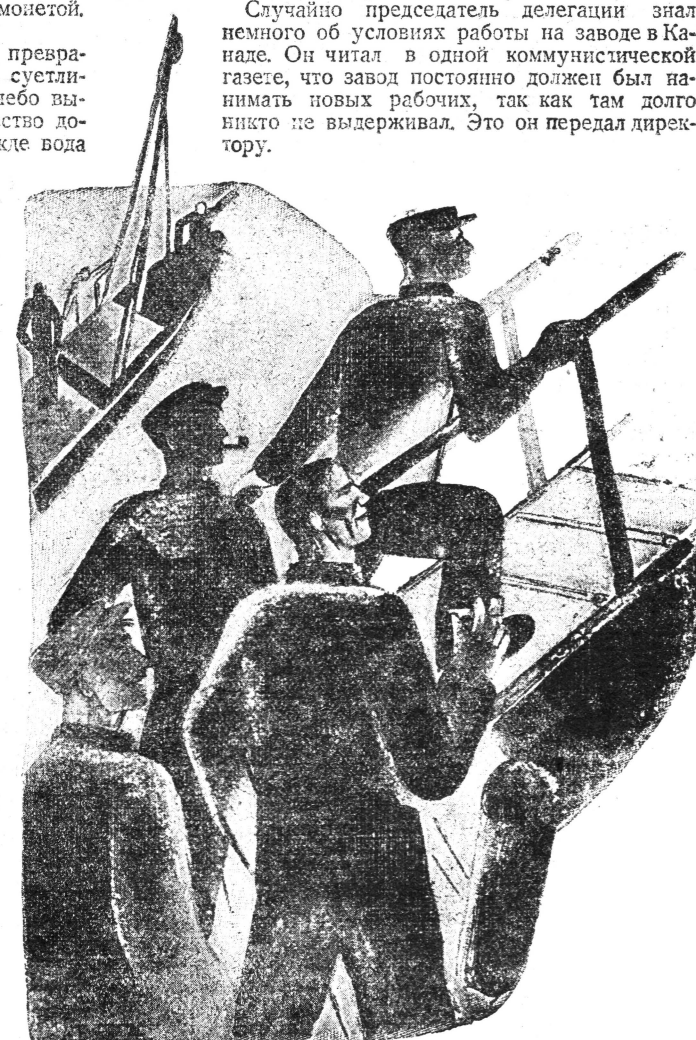
— Так больше нельзя, — сказали как-то некоторые из рабочих, когда несколько человек внезапно заболело и их пришлось вынести из цеха. — Должна наступить какая-то перемена, иначе мы все перекалечимся.

Дело рассмотрели в профсоюзе. Постановили послать депутацию к директору и предъявить следующие требования: четыре смены, гораздо лучшая вентиляция. Карл Берг, коммунист, был избран председателем депутации.

Француз-директор сидел, полный и широкий, в своей конторе в кресле. Председатель депутации описал условия работы в кислотном цехе, множество несчастных случаев и наконец предъявил требования. Когда переводчик упомянул четыре смены, директор вскочил как уколотый и проревел по-французски что-то, похожее на ругательство. Однако он сейчас же совладал с собой и отвечал спокойно и хладнокровно.

Требование четырех смен он отклонил сразу же, но вентиляцию обещал улучшить. Впрочем он рассказал рабочим, что он управлял подобным же заводом в Канаде, и там рабочие никогда не надоедали дирекции. Он надеялся, что норвежские рабочие не хуже канадских.

Случайно председатель делегации знал немного об условиях работы на заводе в Канаде. Он читал в одной коммунистической газете, что завод постоянно должен был нанимать новых рабочих, так как там долго никто не выдерживал. Это он передал директору.



Собравшиеся на пристани твердо решили не пускать его на берег.

Иенсен стоял на корме.

Директор фыркнул:

— Газетные враки.

Подконец председатель депутации сказал:

— Тогда нам придется забастовать.

Директор опять подскочил и стал ругаться по-французски.

— Бастуйте, — ответил он. — Посмотрим, кому от этого будет больше пользы!

Вечером все рабочие кислотного цеха постановили забастовать. На другой день директор ответил на это расчетом всех рабочих, за исключением инженеров и служащих.

— Ладно, — сказали рабочие. — Ему нужна борьба. Он ее получит.

Избрали стачечный комитет во главе с Карлом Бергом. Сообщение о забастовке послали в рабочие газеты, подробный отчет представили союзному руководству.

Через несколько дней после начала забастовки пришла телеграмма стачечному комитету от председателя профсоюза: „Организуйте массовый митинг. Выезжаю сегодня".

— Что-то готовится, — сказал Карл Берг своим товарищам.

— Иенсен, председатель союза, по всей вероятности постарается задушить забастовку. Но на этот раз ему не удастся.

Наступил день. Большой зал для собрания был набит битком. Председатель союза говорил очень долго. Он упоминал стабилизацию, рационализацию и т. д. и настойчиво указывал, что рабочие в первую очередь должны думать о том, чтобы фабрики не стояли. Наконец он заговорил о забастовке. Эта забастовка—незаконная (смех среди слушателей). Рабочие кислотного цеха должны поэтому вернуться на завод и продолжать работу на старых условиях. Тогда и только тогда профсоюзное руководство попытается начать переговоры с директором. Когда он окончил речь, раздались свистки.

Карл Берг взял слово. Сначала он напомнил председателю союза то время, когда тот сам был рабочим:

— Тогда ты не был реформистом. Наоборот. Тебя называли революционным синдикалистом. Если бы тогда кто-нибудь выступил с такой речью, какую ты преподнес нам сегодня, ты бы первый закричал: „долой, сбросить этого типа с лестницы!" Ты изменился. Вместо того чтобы защищать интересы рабочих, ты становишься на сторону капиталистов. Поезжай назад в свой кабинет! Мы сами поведем борьбу.

Профсоюзный вождь надел шляпу и ушел. В тот же вечер он уехал обратно в столицу. Но перед отъездом отобедал у директора.

Забастовка продолжалась. В других промышленных пунктах образовались комитеты помощи. На многих заводах рабочие постановили отчислять в пользу бастующих еженедельно некоторую часть своего заработка. Коммунистические коллективы и газеты организовали сбор средств. Симпатии рабочих были повсюду на стороне бастующих. Профсоюзное руководство не делало ничего, по крайней мере ничего не было слышно об его деятельности.

Забастовка тянулась уже три месяца. Директор не решался принимать штрейкбрехеров, чтобы не раздражать рабочих. Впрочем он надеялся, что забастовка скоро кончится, и каждый день ожидал, что рабочие, изголодавшиеся и отчаявшиеся, придут на работу. Но дни шли, а забастовка продолжалась.

Внезапно директор отправился куда-то с завода на своей паровой яхте. В столицу, по слухам. Как раз в это самое время Карл Берг, председатель стачечного комитета, предпринял агитационную поездку. Во многих местах рабочие хотели узнать подробнее о ходе забастовки.

Прошла неделя. И в газетах появилась телеграмма: „Забастовка на цинковом заводе в Вангене прекращена. Работа возобновлена на старых условиях". Берг находился на расстоянии одного дня пути от Вангена. когда он прочитал эту телеграмму.

— Предательство, — пробормотал он. — Здесь наш профсоюзный вождь вел игру.

В ту же ночь он уехал домой.

Когда он на следующий день приехал в Вангеи, на пристани стояло несколько товарищей. Они рассказали ему все.

Как только Берг уехал, на горизонте появился Иенсен. Он созвал рабочих социал-демократов на партийное совещание. На совещании он предъявил приказ членам партии от руководства партией немедленно приложить все усилия, чтобы закончить забастовку. Тем, кто пытался противоречить, пригрозил исключением из союза. Таким образом большинство рабочих социал-демократов было обработано, приведено в покорность и подконец пало. Потом организовали массовый митинг всех бастующих. Коммунисты боролись против фашистских методов, но тщетно. Большинством голосов было принято — прекратить забастовку.

— Как настроение? — спросил Берг.

— Подавленное, — был ответ. — Социал-демократы и те чувствуют, что их надули.

— А где мерзавец?

— Он по всей вероятности скоро уедет.

— Тогда мы устроим ему подходящее прощание. Вторая смена сейчас придет с работы?

— Да.

— Пусть рабочие придут на пристань. Я скажу председателю несколько теплых слов на дорогу.

— Поздно, — раздался голос сзади.

— Каким образом?

— Вот он уезжает! — ответил один из рабочих. — Он уходит в столицу гостем на яхте директора.

— Это символизирует, — заметил Берг, — интимное сотрудничество. Но мы еще встретимся!

Он потряс кулаком в сторону парохода, уходившего полным ходом из фьорда.

Лето прошло. Наступила осень. Никаких изменений в кислотном цехе не произошло. Несчастные случаи бывали каждую неделю. Многие ушли с работы, приняли новых. Настроение среди рабочих звало снова на борьбу.

В конце сентября пришли два больших грузовых парохода с сырьем. А в кислотном цехе произошло еще несколько несчастных случаев. Одного рабочего, работавшего на заводе с самого начала, пришлось увезти в город. Вопрос шел о жизни или смерти.

„Теперь или никогда“,—решили рабочие. И внезапно грянула забастовка. У директора сделался припадок — от ярости.

— Проклятые коммунисты, тут опять видна их рука! — проревел он. — Однако мой друг Иенсен вернет им здравый рассудок.

Каждый день летели телеграммы в столицу.

Но Карл Берг, который снова сделался председателем стачечного комитета, тоже связался со столицей. На третий день пришло известие: „И. выехал“.

— Хорошо, — пробормотал Берг, — мы устроим ему встречу, когда он приедет!

Никогда еще на пристани не собиралось столько народу. Все было черно от рабочих, даже в прилегающих улицах. Они ожидали прибытия парохода, едва различимого вдали. Когда пароход приблизился к пристани, рабочие сжались, чтобы быть как можно ближе к судну. Кого они ждали? — Иенсена, председателя профсоюза. А вот и он стоит на корме, толстый и круглый, как коммивояжер по продаже жиров. Ему сопутствовал социал-демократический депутат парламента от местного округа. Послышались первые крики:

— Чего тебе здесь нужно? Что ты будешь тут делать? Поезжай назад! Нам тебя не нужно. Мерзавец! Предатель!

Иенсен побледнел и растерянно оглянулся. Карл Берг и несколько старых рабочих поднялись на борт судна.

— Я советую тебе ехать обратно, — сказал Берг. — Все собравшиеся на пристани твердо решили не пускать тебя на берег.

— Я должен,—ответил Иенсен уклончиво.

— Ну, попробуй, — сказал Берг. — Я тебя предупредил.

Дрожа, нервно взял Иенсен свой портфель и ступил на сходни. Депутат парламента следовал за ним как верный пес. Но не успел Енсен дойти до середины сходен, как людская масса издала раздраженный крик, сильные руки подхватили председателя профсоюза и отбросили обратно на пароход. Он уронил шляпу и портфель. Их швырнули ему вслед.

— Кланяйся там! Не желаешь ли уехать на директорской яхте?

Смех и издевка градом сыпались на несчастного. Он поднял шляпу и портфель и исчез в каюте. Депутат пытался произнести речь, но его никто не слушал.

Карл Берг взял слово, и все затихло. Он говорил о прошлой борьбе и напомнил, что путь рабочего класса идет через поражения и борьбу к победе. „На этот раз никакой предатель не помешает нам победить!“ Крики „ура“, „Интернационал“. Пароход пошел дальше.

...Через пять дней забастовка окончилась. Когда директор услышал о выступлении на пристани, он нашел, что положение безнадежно. Капитаны требовали разгрузки своих судов, и каждый день стоил кучу денег за простой.

Начались переговоры. Заключили письменный договор. Были установлены определенные изменения в вентиляции, большее количество рабочих должно было быть принято „в кислотный цех“ и разделение труда должно было быть улучшено. За самую вредную работу должны были прибавить заработную плату.

— В конце концов мы победили, — сказали рабочие.

— В к о н ц е к о н ц о в, — заметил Карл Берг философски, — мы добьемся окончательной победы.

С норвежского перевел Игорь Дьяконов.

СМЕРТЬ ГЕДРИСА

ИЗ ПИСЕМ О ЗАПАДЕ

ДМ. ЛЕБЕДЕВ

Маленькая республика и большая тюрьма. Здесь, кажется, тюрьмы нарочно сделаны такими большими, чтобы в случае необходимости посадить под замок всю страну. Я смотрю, как по невылазной грязи ковыляет господин прокурор, и мне думается, что он должен быть очень свирепым — господин с рыжими усами и длинной литовской фамилией. Сегодня в тюрьме стекла разбиты, потому что утром была демонстрация и рабочие перекликались с заключенными до тех пор, пока и тех и других не упрятали в дальние подвалы карцера. Прокурор приехал констатировать смерть нескольких заключенных от неосторожного обращения с огнем: их застрелили, когда они, выбив стекла, кричали приветствия демонстрантам.

Господин прокурор сегодня очень зол. Жаль. А я привез вам нежданный привет из Москвы... Мы с вами встречались, господин прокурор, не так ли? Вспоминается вечер на окраине Вольмара, холодный вечер 22 декабря 1919 года. Где-то вдали за грядой мутных избенок, корчащихся в грязно-буром снеге, перезванивались рождественские колокола, собачий лай метался по улицам, и всем было чуть-чуть не по себе, глухой и черный возок инквизиции выплыл за околицу и нырнул в снег. Право, здесь было мрачнее, чем на кладбище, и именно здесь Гоголь должен был написать своего „Вия".

Тогда еще комсомольцы не умели умирать. С непривычки некоторые их них закрывали глаза, и это вызывало у вас, господин прокурор, законное раздражение. Но потом они не раз ездили изучать эту сложную науку за черту границы, отделившую нас от страшного восточного соседа, и, кажется, изучили ее вполне. Сегодня придется понервничать.

...С утра в тюрьму доносились уличные крики. Глухой рокот перестрелки радостно подхватили камеры.

Английские полицейские ведут арестованную комсомолку.

— Вставайте, вставайте, демонстрация...

— Седьмое ноября, понимаете ли?

За окном катились волны демонстрации. Звали. Светлое небо — мороз и снег вошли в камеру. На клочках газет, на рваных лоскутьях старых писем, на ленточках, сорванных с проклятой позорной одежды, пестрели лозунги: их писали ночью в темноте, и они не могли бы украсить собой людные площади больших столиц, но они были дороже и милее, потому что это было свое и за это можно было отдать жизнь.

— На прогулку!

По трое, по пятеро их выбросили в опротивевший, паршивый от гнойного воздуха двор. Лениво вытянулась колонна узников. Надзиратель отсчитывал шаг. Медленнее. Быстрее. Медленнее. Как манекены, они повторяли приказ, бессознательно исполняя его. Залп. Опять стреляют где-то. Крики. Ветер доносит знакомые, давно не слышанные голоса. Звенья цепочки расстраиваются, одиночки начинают поглядывать назад.

— Не оборачиваться!

Но что там? Вот закивали друзья, весело затрепетали пальцы, тысячи условных сигналов пронизали змейку толпы. И грохнуло в первых рядах горячими строфами „Интернационала". Стройнее пошел ряд.

— Прекратить пение!

Но морозный воздух уже дрожит от тысяч дыханий. Глотки во всю ширь захватывают знойные волны ветра. К чорту промозглую гарь камер! Бежит песня отсюда, в улицы, в толпу, где тяжелеет дробь перестрелки.

Их загнали в камеры. Их подгоняли прикладами. Им угрожали смертью: они продолжали петь. Их лишили пищи. Они пели. У них сорвали все лозунги: они изорвали в клочья одежду и снова выбелили камеру страшными фразами. А „Интернационал" продолжал носиться по коридорам, и стены не могли преградить ему пути.

Проклятый Корсак, старший надзиратель, мечется по всей тюрьме. Он взбешен. Он ничего не может сделать. Но он еще придумает. У него замечательная голова: сам великий инквизитор не был так изобретателен, когда речь

шла о пытках. И когда в грязный глазок камеры мелькает его противная, похожая на свеклу голова, пение чуть-чуть обрывается и один-другой голос спрашивает на ухо.

— Что еще придумает эта сволочь?

Сегодня ночью Корсак избил жену Гедриса. Только ли избил? Она с дрожью вспоминает об этом жутком допросе и кричит:

— Не вспоминайте, не вспоминайте об этом.

А Корсак проходит мимо, покрикивает в окно:

— Смотри у меня, молчи, если хочешь спасти мужа.

Гедрис сидит в камере смертников. Их восемь. Отделенная от всей тюрьмы глухой железной дверью, она мертва, словно там и нет никого вовсе. Но, когда тюрьма замирает, в черную глубь камер доносится глухой стон: это смертники поют „Интернационал". И тогда вся тюрьма, надрывая глотки, начинает петь мощный гимн, чтобы через толщу стен он прорвался туда, чтобы последние часы товарищей не были одинокими и бесконечными. Восемь обреченных, среди них Гедрис. Гедрис — комсомолец. У Гедриса за спиной — шесть лет работы в подполье, работы, не знающей провалов. Он был еще мальчиком, когда расстреляли тех одиннадцать. Он видел их казнь, не проронил ни слова, только несколько дней трясся в лихорадке, от которой плакала его мать. С тех пор у Гедриса не было ни одного дня, который не принадлежал бы комсомолу. Прокурор знал, что он — автор тех изобретательных трюков, которые сводили с ума полицию. Если на верхушке обледенелого столба появлялся красный флаг — это было делом рук Гедриса. Если на трансформаторной будке с надписью: „прикосновение смертельно" появлялись плакаты, которых не решался сорвать ни один полицейский, — значит тут работал Гедрис. Если деревья на проезжей дороге были украшены комсомольскими плакатами — тут

Забастовочный пикет английских рабочих.

был Гедрис. Он был везде и он был неуловим. Подвела, как всегда, провокация. Гедриса пытали всеми пытками, которые известны литовской охранке. У Гедриса арестовали жену и мать, им грозили всеми казнями и пытками, думая, что их ужас передастся ему, но он только смеялся над охранниками:

— Это смешно! Какой же комсомолец боится пыток!

Вместе с ним арестовали маленькую героиню Бристинайте, — ту, которая, зарывшись в подвал, печатала на американке подпольные листовки. Подлый Корсак попробовал взять Гедриса еще на дин трюк, он убеждал его жену, что Гедрис изменял ей с Бристинайте. Он нашел даже документ, который должен был уличить изменщика: паспорт, в котором было написано, что Бристинайте — жена Гедриса. У горячей, легко возбуждающейся Берты, жены Гедриса, загорелись глаза. Но она смолчала и только поплакала в камере. Недолго. Подруги смеялись над ней: она не знала, как часто в подполье устраиваются такие фиктивные браки, когда нужно спасти товарища. Когда Корсак позвал ее снова, Берта плюнула ему в лицо. Так и не удалось сломать Гедриса. Прокурор швырнул его дело. Дело было пустое, улик не было никаких, но старый палач чутьем чувствовал, что Гедрис — главный виновник. Его судили заочно: прокурор испугался, что среди испытанных инквизиторов найдется какая-нибудь тонкая душа и суд не решится приговорить к смерти человека, против которого не имеется ни одной формальной улики. Его судили и приговорили к смерти. Сейчас он ждал решения своей судьбы: просьба о помиловании, поданная матерью, затерялась где-то у президента, и неизвестно было, когда настанет час убийства — сегодня, завтра, может быть через месяц. Этой пытки многие не выдерживали. Но у Гедриса в прошлом было так много пыток, и эту он вытерпел почти равнодушно:

— Не все ли равно, как умереть.

А смеялся он так же заразительно, так же весело, как и раньше.

Вчера умерла Бристинайте. Ее запытал Корсак. Он вызывал ее в этот день раз десять. Ее били, выворачивали суставы, плевали в лицо, подвешивали к потолку. Когда ее привели в камеру, она беспокойно воротала глазами. Подруги ухаживали за ней, мочили ей водой голову, пели ей песни. В полночь она начала бредить и просила убить ее:

— Убейте меня, я боюсь выдать Гедриса...

В два ночи она вскрикнула и застыла. Вся тюрьма спала, но когда из камеры Бристинайте раздались звуки похоронного марша, камера за камерой присоединились к пению, и скоро в ночь, в тяжелый вой зимнего ветра, в беспокойную мглу окраинных улиц влетел шквал — тысячами голосов тюрьма запела, нет, не запела, а застонала похоронный марш. Ветер донес его до камеры смертников, и оттуда ответили восемь голосов. Хриплый от мучительного ожидания, уставший от бессонных ночей Гедрис покрывал все эти голоса своим металлическим баритоном. Застучали засовы, загрохотали винтовки часовых, и всю тюрьму обдало пьяным прокурорским окриком:

— Прекратить!

Но первых часовых, которые ворвались в камеры, встретили кулаками. Тогда Корсак ходил от камеры к камере и говорил нарочито тихо:

— Сегодня ваш праздник, — так. Сегодня должен быть приведен в исполнение приговор над Гедрисом. Если вы перестанете петь, приговор будет отложен. Размышляйте скорее.

Через десять минут вся тюрьма замерла. Только кое-где в камерах проснувшиеся заключенные посылали глухие проклятия палачу. Жена Гедриса тихо плакала в углу. Подруга гладила ее по голове, пробовала успокоить и, устав, безнадежно бросила ей:

— Стыдись, Берта, какая ты комсомолка!

Берта стала комсомолкой в тюрьме — ее приняла здешняя ячейка, но она старалась не уступать другим, и она перестала плакать. Она только глухо всхлипывала, слушая и не слыша голос подруги.

— Из тюрьмы комсомольцы выходят такими же бодрыми, как и входят в нее.

— Они в нас воспитывают ненависть к себе. Ненависть победит.

— Никакая тюрьма не вытравит из нас любви к жизни.

— Чем мрачнее ты приходишь сюда, тем счастливее будет день освобождения...

— Мы пришли сюда непобежденными, мы выйдем отсюда победителями...

Простые фразы успокаивали, звучали крепкой верой, и изнутри поднималось что-то такое, что заставляло сопротивляться и от чего сердце стало биться спокойнее. И вдруг:

— Прощайте, товарищи! Займите наши места! Прощайте! — Густой голос Гедриса в перемежку с ветром долетел из глубины двора. — Помните, что мы не сдавались и не сдаемся. Мы плюем на наших палачей. Вспомните о нас, когда вы будете судить эту сволочь.

Его ударили, потому что слова оборвались сразу, как будто потонули в чем-то. Берта вскочила и забегала по комнате. Она кричала:

— Пустите! Пустите! Я хочу проститься с ним! Пустите, звери!

Подруга взяла ее за руки. Ей стало больно, и она опомнилась.

— Его увели, да?

Подруга продолжала держать ее:

— Успокойся, Берта. Ты ведь ничем не поможешь.

Опять зашумела тюрьма. Она превратилась в ад. Глухой мотив похоронного марша смешался с треском ломающихся матрацов, кроватей, стуком разбиваемых стекол, бессильной атакой стен. Точно вихрь поднялся над этим замком отчаяния и пытался сорвать замки, которые держали его взаперти. Совсем рядом слышались глухие удары: это заключенные толпой навалились на дверь и пытались взломать ее. А со двора все тише доносилось:

— Прощайте! Прощайте! Прощайте!

И стуки. И ветер. И глухой похоронный марш. И бессильный, мучительно-тихий плач Берты...

... Гедрис шел впереди, шлепая по грязи, равномерно позванивая ручными кандалами. Мальчик, который шел с ним рядом, казалось, с любопытством обдумывал новое для него положение. Он изредка вздрагивал — может быть потому, что морозный ветер подбирался под

рваную рубаху и как-то слишком назойливо пощипывал во все обнаженные места.

— С непривычки страшно? — спросил шутя Гедрис и взял мальчика за руку. — А ты смотри на меня!

И, напевая веселую песенку, чтобы товарищам стало веселее, он беспокойно оглядывался назад, и только когда вся тюрьма поднялась адским грохотом протеста, лицо его просветлело. Мальчик вздрогнул.

— Почему они там шумят? — спросил он.

— Это протест, мальчик, — спокойно ответил Гедрис.—Ты еще не понимаешь таких вещей... Это — единственная сила, которая может сломить наших палачей. Тебе не хочется умирать?

— Нет! — Мальчик вспыхнул.

— Ну, молчи, молчи!

Гедрис сильнее сжал его руку.

— Я ведь тоже не хочу. Если бы таких, как мы с тобой, было много, нам досталась бы жизнь, а палачам пришлось бы расплатиться за свои дела. Но, так как нас пока мало — выходит наоборот. Так, брат, устроена вся жизнь. Либо нужно уничтожить палачей, либо палачи уничтожат тебя.

Мальчик продолжал всхлипывать. Все его тело подергивалось судорогами. Он щурил глаза от слабого света потайного фонарика, которыми жандармы освещали их путь.

— Куда они ведут нас?

— На кладбище!

Гедрис сказал и спохватился. Мальчик вздрогнул, и скоро длинный тюремный двор огласился истерическим воплем, от которого вскрикнули все восемь. Гедрис схватил его за руку.

— Перестань, мальчик. Революционеры так не делают. Посмотри на остальных. Видишь, как они спокойны.

— Я не могу, не могу!..

Мальчик дернул за рукав Гедриса, притянул его к себе.

— Они меня закопают, Гедрис, правда?

Гедрис погладил его по голове.

— Они закопают всех нас, — глухо произнес, обернувшись, один из тех, кто шел впереди.— Тебя и нас вместе. Это очень быстро и совсем не больно. Ты только не думай и считай до ста. Ты и не заметишь, как это произойдет.

— Не переговариваться! — зашипел жандарм.

— Молчи, палач! — спокойно сказал Гедрис и снова стал гладить по голове мальчика.

— Ну, вот и все. Уже не страшно. Бросьте все думать о смерти. Думайте о жизни. Убьют нас, но разве можно убить комсомол? Какие прекрасные вести доходят из России, из Германии, из Китая. Везде разгорается пожар. Начинаются замечательные дни. Вот теперь будет делаться история. Разве ты не счастлив от того, что ты своими руками делал ее?

— Да, но у нас, в Литве! — глухо пробормотал тот, кто шел впереди.

— Что — Литва. Маленькая уездная дыра и ничего больше. Ураган сметет ее по пути. Когда поднимется весь мир...

Он осекся. Жандармы ударили его по лицу. Гедрис попробовал размахнуться, но его свалили сзади и начали бить... Он не вскрикнул.

...Через час надзиратель осторожно открыл дверь в комнату Берты.

— Не спишь? — спросил он.

Берта молчала.

— Их прикончили всех, — сказал он. — И никто, даже самый маленький, не просил пощады. Какие это были прекрасные люди! Ты можешь гордиться своим Гедрисом, Берта...

Он ушел, и только тогда она заметила на столе клочок бумаги. Она порывисто бросилась к нему. Чаще забилось сердце. От него... Конверт дышал его кровью, говорил его голосом. Она прочла не раз, десять раз прочла последние строки, написанные четким, уверенным почерком, так, как пишут люди, у которых никогда не дрожат руки.

„Не нужно плакать, нужно радоваться. Я думал, что это страшно тяжело—умирать, и мне было страшно при одной мысли, что я не выдержу и начну молить о пощаде. Но вот сейчас, когда, закрыв глаза, я уже чувствую на своей шее руку палача, я вижу, какой это был смешной и нелепый страх. Мальчик, которого привели со мной, смотрит на меня и держится очень бодро. Его арестовали только за то, что он отказался выдать меня. Потом его почему-то решили расстрелять. Просто так, для количества. Но он ведет себя так хорошо, что совершенно не нуждается в моем ободрении. Я люблю тебя, смелую и гордую, Берта. Такой я тебя знал всегда. Я буду стоять перед палачом с одной мыслью: ты не прольешь ни одной слезы. Ты возьмешь себя в руки и будешь учить других ненавидеть так же, как ненавидел я... Когда свирепеет враг, значит ему приходится худо. Осенние мухи кусаются больнее... Я верю, что тебе осталось недолго ждать. Милая, милая... Как бы я хотел тебя видеть сейчас, чтобы вместе с тобой радоваться этой надежде".

Право, господин прокурор, я не хотел оскорбить вас. Я напомнил вам о двух эпизодах, которые странно выпали из вашей памяти. Я вижу, что вам не нравится мой привет от красавицы Берты, которой гордится целый район Москвы. Она провожала меня светлым, слякотным утром и, подсаживая в кабину самолета, несколько раз повторяла вашу фамилию и адрес. Вы видите, я не забыл его.

— Если ты увидишь его там, передай ему привет от меня. Скажи, что я еще надеюсь его увидеть живым тогда, когда это мне понадобится.

ПРЫЖОК ПРОФЕССОРА СТРОГОВА

В. ДРУЖИНИН

Рисунки Н. КОЧЕРГИНА

ВМЕСТО ПРОЛОГА

Все сие случилось в 1758 г. когда державная императрица Елисавета Петровна на престоле во славе пребывала. В тот год я, в чине профессора при Российской академии наук состоя, вновь прибывшим египетским мумиям подробную опись составлял. Оные мумии Шведской академией презентованы были, и великое тщание употребить надлежало, дабы, ничего не повредя, их освидетельствовать и в кунсткамеру поместить.

Января в 21 день на собрании профессоров будучи, слушал я трактат великого гордеца и самохвала Михайлы Ломоносова. В том трактате Ломоносов относительно камней, руд и минералов рассуждение имел и говорит тако: — зачем де академия Крашенинникова на Камчатку послать соизволила, все одно проку с того не будет, сколь бы ни богата та страна была. Лучше б пойти поискать по близким губерниям отечества нашего, где руда какая лежит или минерал, чтобы через то богатство державы российской приумножить. И брался Михайла Ломоносов, ежели академия на то согласиться изволила, коллегию из господ профессоров, буде кто пожелает, созвать, оная коллегия разыскивать полезные клады натуры назначение имела. Столь великого нахальства набравшись, тщился оный Ломоносов, худородной фамилии сын, благородных господ профессоров под свою холопскую руку поставить.

Господа профессора, на том собрании присутствовавшие, единогласно такому афронту воспротивились и с Михайлой Ломоносовым в сериозную контрадикцию вступили. Оный же самохвалец, нимало не смутившись, свечи на столе президента задул и, выйдя из-за стола и пройдя мимо господ профессоров, в ладоши хлопнул и кукиш сложил, затем из заседания вовсе вон вышел и дверь с великим шумом захлопнул. О той продерзости Михайлы Ломоносова господа профессора тотчас всемилостивейшей государыне прошение составили.

После же собрания, часу в одиннадесятом я вновь за описание египетских мумий принялся и долго ль за тем делом сидел, не упомню. Токмо что внезапно дверь якобы от тарана затряслась и едва с петель не сползла. В тую же секунду профессор Михайла Ломоносов перед глазами моими предстал и, двумя пальцами вноздри мне упершись, свалил меня под стол, где мумия фараонова лежала. Потом Михайла Ломоносов, окно растворив, громко закричал:—Причаливай ребята, и заходи сюда. И лежа увидел я, словно бы фейерверком осветилось окно и стена вся, и увидел я сквозь ту стену, что несметный флот стругов парусных к набережной реки Невы пришвартоваться намерен. И складывают с тех судов сходни и простого народу видимо-невидимо с тех судов сходит. Когда ж затопало лаптей множество по лестнице, столь сильный ужас мою душу охватил, что я хладным потом обливаться начал. Тем временем Михайла Ломоносов, на президентово кресло усевшись, начал своих

людей зычным голосом скликать. И собрались в зал те подлого звания люди, кто в зипунах драных, кто в свитах, и фараоновы мумии за ноги похватив, в окна побросали. Тут Михайла Ломоносов, разрушение рукой остановив, речь держал, из коей я лишь то уразумел, что надлежит немедля господ профессоров извести и серых людей в профессора произвести, а буде кто противиться тому делу начнет, того нещадным боем и казнью уничтожить. Сказав сие, тот Ломоносов открыл стол и, нашед тамо устав академии, кинул его на пол, говоря, — сожгите эту ветошь. На что чернь одобрением ответствовала и един из их числа мужик тот устав жег и, меня увидев, огнем мне лицо палить начал. Той боли не стерпя, я вскрикнув, в тот же момент от сна пробудился. Свечу, с коей горячий воск лицо мое залил, от себя отодвинул и длительное время о сем ужасном видении размышлял.

I

Главный коридор университета казался пустым туннелем метрополитена. Плиты паркета были местами разобраны. Профессор вспомнил Францию, — она носилась перед его глазами в образах Великой революции, — и шагал, запахивая на ходу шубу.

— Вы заметьте, — ловил его спутник отрывистые фразы, — народ взял Бастилию, он разрушил ее, так же как наш народ сжег здание окружного суда на Литейном. Но на обломках Бастилии, — тут профессор вопросительно взглянул на шпап, мерцавший кожаными обрезами, — на обломках Бастилии возникла невиданная тирания... Впрочем об этом мы будем говорить на лекции.

Профессор вежливо открыл дверь.

— Вы входите, господин студент?

— Вхожу, господин профессор.

В аудитории было холодно. Это только теперь заметил профессор, когда распахнул шубу и положил на стол портфель. Спертая, наполненная человеческими очертаниями темнота чуть прояснилась. Студент в переднем ряду попытался зажечь свечу, — он со свистом провел колесом зажигалки о колено, и крошечное зарево осветило заросшее, насмешливое лицо. Но профессор предупредительно взмахнул портфелем.

— Не надо. Пусть будет темно. Вы понимаете — почему? Теперь везде темно. Вся Россия — в темноте.

Многоголовая темнота одобрительно качнулась. Профессор, ободрившись, продолжал:

— А мы — мы с вами поймем друг друга и в темноте.

Не всматриваясь в темноту, профессор наощупь открыл портфель и поймал тетрадью полосу лунного света.

— Мы говорили о геологическом строении Северо-западного края. Я указывал, что наш край, особенно Карелия, хранит огромные богатства. Мы не сумели овладеть ими до революции. Сейчас тем более они выпали из наших рук... Наука — она не может развиваться. — Профессор явно потерял нить рассуждений. — Наука сейчас мертва.

„Наука может развиваться только в трех условиях. Первое условие — это наличие одаренных людей, способных воспринять отвлеченные познания. Второе условие — это юридическое равноправие населения, короче говоря — республиканский или конституционный образ правления. Мы видим, что в тех странах, которые избрали именно эти формы — Америка, Англия, выше всего стоит наука. И третье условие — свобода самой науки — то есть чтобы ни один класс не пытался руководить наукой по своему усмотрению. Наука по природе бесклассова. Всякое научное достижение служит не классу, а человечеству в целом. Какому классу служит по-вашему солнце? — я хотел бы задать этот вопрос большевикам. — Тут

— Не надо. Пусть будет темно. Вся Россия в темноте.

профессор, не вытерпев, погрозил в темноте кулаком. — Кому служат его лучи? Белогвардейцам. Красным. Так же, как беспартийно солнце, беспартийна и истина, беспартийна наука.

„Отсюда ясно, господа, что говорить о развитии науки в нашей стране в настоящее время нелепо, да, нелепо. Как может уцелеть наука, когда лучшие ее представители гибнут от голода или пуль, когда все лучшие силы страны эмигрировали".

Студент, пытавшийся зажечь свечу, вдруг шевельнулся.

— Позвольте, профессор, — проговорил он громко. — Я считаю свой вопрос уместным. Скажите, как вы смотрите на попытки большевиков создать свою, пролетарскую, как они выражаются, науку?

— Нелепость, чистая нелепость, — серьезно подхватил профессор. — Вспомним первое условие для развития науки. Пролетариат никогда не может иметь своей науки. Работы ряда крупнейших ученых доказали, что пролетариат — худшая, выродившаяся часть человечества. В особенности русский пролетариат. Русский рабочий, работавший на фабрике одиннадцать с половиной часов в день по законодательству 1897 года, не может производить научные ценности. Это ясно. История показывает, что подчиненное положение пролетариата воспитывает в нем ненависть против технических достижений. Вспомним разрушителей машин в Англии. История рабочего движения показывает, что рабочий может быть только врагом науки.

— Простите, профессор,—поднялся неспокойный студент. — Вы, позволю себе заметить, находитесь на грани противоречия с самим собой. Вы только что указали преимущества Англии в деле научного роста. Между тем, упоминая разрушение машин, вы подчеркнули, что технические достижения находятся в руках противоположного пролетариату класса. Следовательно...

Профессор от неожиданности взмахнул рукой и, пожевав губами, повышенно-спокойно ответил:

— Я думаю, мы сделаем небольшой перерыв. К вашему замечанию, коллега, мы вернемся следующий раз.

2

Над въездом в город Дайтон, Теннесси, колыхалось огромное знамя с белыми звездами и с решеткой полос на красном фоне. Около знамени на спешно сколоченной деревянной подставке сидел Том Майк, фоторепортер „Мид-Уик пикториал" и всматривался объективом кодака в пыльную степную даль. Из-за холмистого горизонта одна за другой выползали повозки фермеров. Фермеры спешили. Заседание суда должно было начаться в двенадцать часов.

●

За околицей деревни Подмойной гулял пошатываясь ветер, трепал несжатую рожь и нагибал колодезные журавли. И когда сумерки облапили деревню и рябая корова — последняя в стаде—прошла вызванивая по широкой улице, в окне Захара Цимбалюка загорелся желчный лампадный свет.

●

На Рузвельтстрите—главной улице Дайтона — от балкона к балкону вытягивались белые ленты с черными буквами.

ТОЛЬКО БЕЗБОЖНИК ПРИЗНАЕТ ОБЕЗЬЯНУ СВОИМ РОДСТВЕННИКОМ

РУКА ГОСПОДА ДА ПОРАЗИТ НЕЧЕСТИВЫХ

В двенадцать часов кучка запоздавших фермеров, не успевшая пробраться в зал, ясно услышала вступительную молитву мистера Картрайта.

— Мы знаем, отец наш, — говорил, подняв голову к потолку, мистер Картрайт,—что ты—источник нашей мудрости и разума. Мы неспособны мыслить чисто и поступать правильно без помощи твоей и твоего божественного духа. С сознанием нашей слабости мы просим тебя, отец, разрешить процесс так, чтобы имя твое было выше прежнего прославлено в Соединенных штатах.

В деревне Подмошной, в углу своей хаты, кладет земные поклоны сектант-корнеевец Цимбалюк. Голова Цимбалюка наливается тяжелой кровью, боль стягивает шейные позвонки, но строгое, неулыбающееся лицо в углу, лицо, едва освещенное лампадой, кивает в такт Цимбалюку.

— Качай, качай поклоны, проклятый, качай, — говорит архистратиг Михаил Цимбалюку.

— Прости, родный мой батька Михаил, прости меня окаянного! — шепчет, холодея, Цимбалюк.

— Читай, окаянная душа, библию, читай, — говорит, кажется, гневный архистратиг. — Разверни апокалипсис и читай, что за окаянство тебе уготовано.

Как ужаленный кидается Цимбалюк к полке и шарит рукой спички.

— Брось спички, антихристова душа,—шепчет архистратиг,—спички те дьяволом исделаны на погубление человека.

Шуршит Цимбалюк рукой под печью, забирает пучок лучин и подносит к тонкому лампадному язычку. Лучина яростно вспыхивает и горит почти без треска, откидывая дым на рассерженное лицо архистратига.

— „И взглянул я, — читает, запинаясь, Цимбалюк, — и вот конь бледный и на нем всадник, имя которому смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертою частью земли, умерщвлять мечом и голодом и мором и зверями земными".

●

— Свидетель Говард Морган, — внятно произнес судья, положив ладонь на густой бархат стола. — Что вы можете сказать о преподавании мистера Скопса?

— Что именно хотел бы знать суд?

— Суд имеет в виду распространение противонаучного и несогласного с религией учения Дарвина, по которому человек происходит от обезьяны.

— Насколько я помню, учитель Скопс никогда не говорил, что человек происходит прямо от обезьяны.

— Можете ли вы коротко изложить, чему вас учил мистер Скопс?

— Могу. Он говорил о том, что вначале земля была раскалена, затем затвердела, потом образовались суша и моря и началась растительная жизнь. Жизнь началась от одноклеточной ячейки и постепенно эволюционировала в животное и наконец в человека.

— В уроках мистера Скопса не было указания на то, что, согласно библии, земля была сотворена богом в шесть дней, одновременным актом, без допущения роста или развития?

— Нет!

— Можете сесть. Этого совершенно достаточно.

●

— Веришь ли божественному слову евангелия?—мучительно допрашивает Цимбалюка архистратиг.—Скажи, веришь ли, окаянная душа?

Цимбалюк сжимает голову обеими руками, впивается глазами в восковое лицо Михаила и покорно опускает ресницы.

— Веришь ли, что, по свидетельству святых пророков, уже наступило поганое антихристово время?

— Верю, верю, батька,—глухо кричит Цимбалюк и растягивается на полу перед иконой.

— А чем искупить можно продерзость перед богом — чем, спрашиваю, окаянная душа?

Замолкает архистратиг и застывает в золотом сиянии его спокойное лицо. Цимбалюк тяжело поднимается с пола, воспаленными глазами оглядывает хату. „Искупить! — стучит в мозг навязчивое слово:—искупить! Как искупить?"

Думает Цимбалюк и видит старика Авраама с большой белой бородой. Вот бог, свешиваясь из-за облака, смотрит на Авраама. Авраам разжигает костер, вытаскивает нож из-за пазухи и тащит к костру своего старшего сына.

„Искупить..." — мучительно думает Цимбалюк, берет топор и подходит к деревянной постели. С ненавистью смотрит Цимбалюк на темные силуэты детских головок.—„Аспидово племя!—думает Цимбалюк.—Извести вас, антихристов, только грехи с плеч сброшу".

— Общественный обвинитель Брайн, — спрашивает судья в городе Дайтоне, — вы долго изучали библию?

— Да, — отвечает мистер Брайн, — я изучал ее около пятидесяти лет и ничего кроме нее не читал.

— Следовательно вы верите всему, что написано в библии, буквально, не так ли?

— Да!

— Когда вы читаете, что кит проглотил Иону, вы понимаете этот текст буквально?

— Да. Бог может создать кита и человека и заставить их сделать то, что ему угодно.

— Верите ли вы в то, что змея, соблазнившая Еву, в наказание за это вынуждена ползать на животе?

— Да.

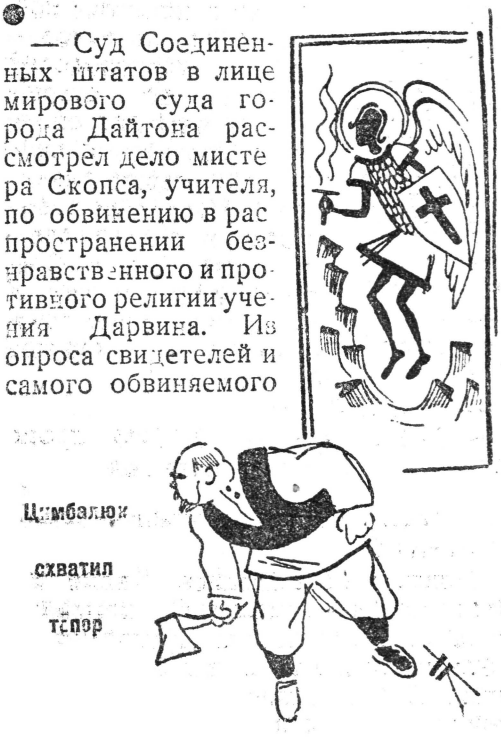
— А как по-вашему передвигалась змея до грехопадения?

●

— Искуплю, искуплю, батько, — громко сказал Цимбалюк. Он подошел к постели, прислушался, надавил ногой пол, точно для того, чтобы проверить его крепость, и, зажмурившись, взмахнул топором.

●

— Суд Соединенных штатов в лице мирового суда города Дайтона рассмотрел дело мистера Скопса, учителя, по обвинению в распространении безнравственного и противного религии учения Дарвина. Из опроса свидетелей и самого обвиняемого выяснилось, что учитель Скопс действительно преподавал эволюционное учение в школе, за что и признан виновным и присуждается к штрафу в сто долларов.



Цимбалюк схватил топор

●

— Он спятил! — донесся в телефонную трубку голос уездного начмила.

— Нет, вполне здоров, — ответил милиционер Суровцев и, повернувшись к понятым, сказал: — Можете итти, товарищи. Я повезу Цимбалюка в город.

●

Весь Дайтон слушает проповедь пастора Бриджа: „Почему белый и негр не могли произойти от одного предка".

●

Все на антирелигиозный вечер вопросов и ответов в избу-читальню.

3

Джим Фоннель в перывах между телефонными звонками любил помечтать. И сейчас он с наслаждением предавался этому развлечению в обществе своего помощника, Билли Чоппера.

— Наука, дорогой Билли, — рассуждал Джим, — вообще не знает преград. Наука в нашей стране бежит вперед, как курьерский поезд. Давно ли для того, чтобы найти такого молодца, как этот, — он указал на маленькую фотографию, лежавшую на столе, — нужно было надеяться на свой глаз и ноги. А теперь...

Резкий звонок прервал Джима. Он услыхал сердитый, резкий голос О-Тенора, начальника участка.

— Что, что, сэр? — крикнул, обняв ладонями трубку, Джим. — Рабочие?

— Да! Присылайте ребят на 28-ю улицу немедленно.

— А, годдэм! — ругнулся Тэд. — Эти демонстрации у меня вот где. Я и говорю, — что бы мы с тобой сделали, бой, лет десять назад? А теперь у нас вот это.

Джим протянул руку и достал из ящика блестящую металлическую сигару.

— Теперь мы им скажем: не желаете ли понюхать „горе моей бабушки“?... Да. Впрочем, ребят надо послать. Дюжины достаточно, как ты думаешь, Билль?

●

Солнце безуспешно пыталось сжечь кубанскую землю. В полдень казалось — не выдержит земля, треснет ее корка и свернется от нестерпимого жара. К вечеру стало легче. Но тревога не покидала старика Битумова, агронома совхоза Некрасовского.

— Глядите, глядите, ребята, — говорил он, щурясь на запад близорукими глазами. — Никак летит проклятая.

— Бросьте, Трофим Тарасович, ничего не видно,— в десятый раз убеждал студент-практикант Костин.

— А баллоны вывозить все же пора,— кипятился агроном. — А ну, давай, нечего зря стоять.

— Стой, откуда ветер у нас? Так, ставь сюда.

Точно гигантские кегли, баллоны выстроились на холмах, у пшеничного поля. Тем временем на востоке увеличивалось темное облачко. Облачко росло.

— Натягивай маски, ребята, скорей, — закипятился агроном. — Пускай.

Зеленоватый газ с кипением пополз из трубок. Клубясь и разрастаясь, газовое облако потянулось навстречу саранче.

●

— Нет, ты не уйдешь, сволочь! — злился Джим, крепче стягивая веревки на спине пойманного. — Ты не уйдешь!

Арестованный что-то глухо проворчал и, перевернувшись, уткнулся головой в угол.

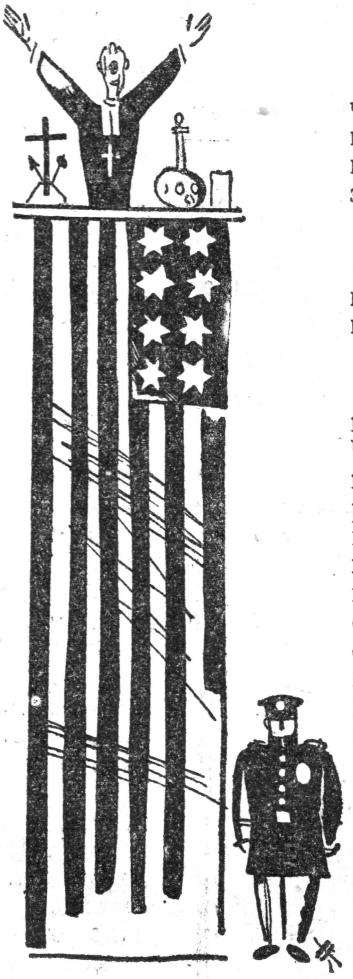
— Вот этого молодчика,— повернулся Джим к Биллю, — мы ловили в течение трех дней. Ты знаешь историю?

— Нет.

— Слушай. Три дня назад этот парень избил полицейского в лесу.

— Ну?

— Вскоре шериф сообщил по радио в полицию. Через полчаса я выехал на место и рыскал добрых три часа по земле, как крот. Наконец нашел просмоленный мешок, которым этот парень обернул ногу, чтобы спрятать следы. И это все. Но я поклялся поймать этих дьяволов — говорю, черноволосый красавец, не старше двадцати пяти лет, около пяти футов восьми дюймов роста, левша, гладко выбрит. Последнее время работал в северо-западной части штата Орегон на вырубке леса. А эта толстая скотина говорит: — Как ты можешь знать все это?



Пастор Бридж доказывал, что белый и негр не могли произойти от одного предка.

— А как, Джим?

— Очень просто. Ничего кроме науки, Билль. Искал и нашел.

●

— Надо искать, товарищи! — сказал профессор.

Поиски продолжались. Белые палатки не раз взмахивали крыльями и перебрасывались на другое место. Гора Кукисвумчорр, казалось, стала ниже. Это означало, что отряд приближается к ее вершине.

Старик-охотник вышел из избушки и, прикрывая глаза рукой, спросил:

— Чьи будете, добрые люди?

— Клад ищем, дедушка, — крикнул веселый студент Рахманов. — Клад.

На следующий вечер экспедиция подводила итоги. Никто не ложился спать. Профессор сидел в центре настороженной группы и, забрав под себя медвежью шкуру, рассказывал:

— Эта гора, товарищи, настоящий клад для сельского хозяйства.

Мы обошли гору и поднимались к ее вершине.

— Здесь, — профессор ударил каблуком о земь, — здесь апатит. Здесь приблизительно полтора миллиарда тонн апатита. Кроме апатита здесь нефелин. Вы не знаете, что такое нефелин, — я вижу это по вашим лицам. Слушайте, я буду спрашивать об этом в институте.

Геологи карабкались на Кукисвумчорр в поисках апатита.

„Нефелин лежит здесь вместе с апатитом, — это его геологический родственник. Если нефелин спекать с кальцием известью при температуре в двадцать тысяч градусов, получим окись алюминия — алюминиевую руду. Чувствуете? Под действием серной кислоты нефелин отделяет квасцы, нужны для текстильной промышленности. Затем из нефелина можно делать стекло. Если растворить нефелин в слабых кислотах, он станет дубителем кожи. Это, может быть, избавит нас от импортных дубителей...“

Утром экспедиция трогалась в обратный путь. Рахманов — веселый студент — шел за обозом и свистел в лицо тайге. Старик-охотник вышел навстречу и спросил строго:

— Нашли клад-от?

— Нашли, — махнув рукой, крикнул Рахманов. — Вот он весь тут, — и показал сияющую шапку горы Кукисвумчорр.

— Так как же ты нашел? — нетерпеливо теребил Билль.

— А так! Первым делом — мешок под микроскоп. Под микроскопом рассмотрев смолу, определил породу сосны. Так, думаю, такая сосна только в этом месте и растет. Поехал в тот лес, порылся и нашел другой такой мешок в заброшенной хижине. Порылся я в хижине, смотрю — полотенце. Давай, думаю, полотенце. Выяснил, что за человек вытирался полотенцем, — об этом мне сказали волоски и кусочки кожи. Потом нашел штаны дровосека, — не было сомнения, что надевал их дровосек, потому что носил он на выпуск. По размеру штанов и по пятнам стало ясно, какого роста этот парень и что он левша. Так вот я и подобрал приметы и разыскал молодца в соседней ферме. Остается спросить, кто позволил ему забраться в чужую ферму.

— Это моя ферм — крикнул вдруг связанный.

— Твоя?

— Ну да, годдэм, моя. Я — фермер, хотя разоренный фермер, правда...,

Попробуй держать теперь ферму, когда государство не покупает хлеба...

— Ты, значит, с горя пошел лес рубить?

— Ну, ясно!

— И полицейских бить?

Связанный выругался и снова повернулся к стене.

4

— Разрешите считать заседание Чикагского архитектурного института открытым.

Зал притих. Голос мистера Банкрофта звучал ровно и спокойно.

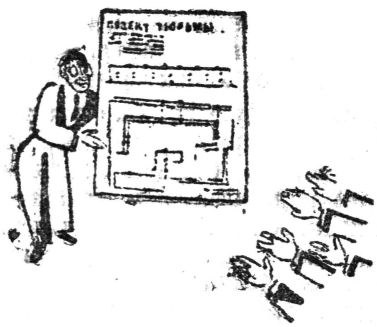
— Как вы уже знаете, работы нашего института в этом году значительно сокращаются. Временные... э... кризисные затруднения в нашей стране не позволяют нам закончить проектировку технического музея, планетария и кинотеатра. Чикаго не будет строить их. Остается одна тема, которая приобретает сейчас особый интерес. Это, дорогие сэры,— тюрьма. Чикаго должен иметь новую тюрьму, построенную по последнему слову науки.

Докладчик, мистер Джевонс, быстро развернул чертеж и подошел к кафедре. На листе ватмана стояли кварталы величественных зданий.

— Вы видете здесь пять пятиэтажных корпусов,— начал мистер Джевонс.— Они, вместе с домом администрации, занимают десять акров. Все корпуса собственно тюрьмы составляют тысячу триста две камеры. Камеры делятся на приемные, общие, госпитальные и изоляционные. Камеры объединены в группы по тридцати девяти штук, и каждая группа имеет свою автоматическую контрольную станцию. Из нее можно нажатием кнопки открыть все тридцать девять дверей и закрыть их или выпустить на преступников воду из пожарных труб. Система зрительных стекол позволяет постоянно наблюдать за заключенными. В каждой камере находится скамья, кровать и кнопка для вызова караульщика.

●

Тед Вильсон развязал бумажную трубку и развернул ее. Оба студента



склонились над рисунком большой машины.

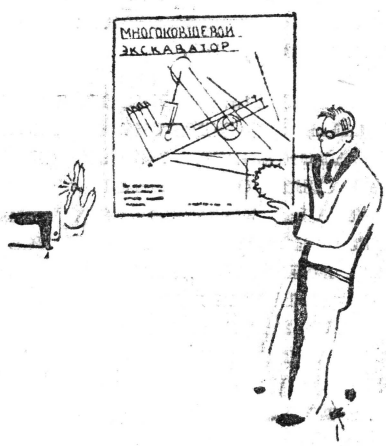
— Это машина для рытья каналов, Том. Это — очень сильная машина, которая не будет рыть канавки. Это невыгодно, понимаешь? Вот скажем, вторая Панама — это ее дело.

— Что?

— Вторая Панама — это канал, который должен пересечь центральную Америку ближе к Соединенным штатам. Я для этого дела и проектировал. Но теперь мне натянули нос — говорят, машина не нужна, канал рыть не будем. До каналов ли теперь, — ясно.

— Тише, тише, начинают!

— Внимание! — прозвучал голос председателя: — Комрэд Барнс, пробывший три месяца в Советском Союзе, сделает доклад о научной работе в Союзе.



Комрэд Барнс начал очень тихо, так что слова едва долетали до задних рядов. Затем голос его начал крепнуть.

— Маркс как-то сказал, что буржуазия похожа на волшебника, который

вызвал подземные силы, но не в состоянии их использовать. Это удивительно метко характеризует сегодняшнюю буржуазию, барахтающуюся в тисках кризиса. Громадные до тижения науки и техники, армия машин и формул, необъятные запасы похороненных возможностей сейчас вычеркнуты из народнохозяйственного актива. С большой болью удары кризиса отражаются в области науки. Во всех капиталистических странах катастрофически срезаны ассигнования на исследовательскую работу. В колоннах безработных все чаще и чаще встречаем мы инженера, химика, геолога, университетского профессора. Тысячи ценнейших изобретений остаются в чертежах. Когда то буржуазия меняла лицо земли — она прорывала туннели, бороздила каналы, строила новые города и заселяла пустыни. Теперь у нее осталось силы ровно на столько, чтобы на несколько часов отдалить свой конец. Кто говорит сейчас серьезно об использовании энергии солнца, приливов, ветра? Не остался ли в проекте второй канал, которым Америка собиралась соединить два океана выше Панамы, через озеро Никарагуа? Одна отрасль техники как будто не страдает от кризиса – это военная техника и охранная техника самого капитализма — техника выслеживания, ареста и экзекуции.

„Не то в стране Советов, в стране, завершающей фундамент социалистической экономики. Новые способы производства обеспечили в России такие темпы хозяйственного строительства, которые не снились ни одной капиталистической стране. Сбросив капиталистов, рабочий класс Союза создает новую страну и новую, пролетарскую науку, которая служит делу освобождения всего человечества...“

После доклада Тед Вильсон выбежал на лестницу и успел поймать Барнса. Том видел, как Тед подошел к Барнсу, поздоровался и развернул бумажную трубку. Барнс слушал и кивал головой. Затем взял Теда под руку и спустился с ним вниз.

Профессор Вейнберг выходил из зала заседания вместе с немецким писателем-туристом. На улице солнце— горячее ташкентское солнце—ударило им в лица.

Профессор Вейнберг подставил ладонь лучам и улыбнулся.

— Вы знаете, сколько здесь? – миллиард семьсот миллионов киловатт энергии. Столько может нам дать солнце.

— Динамо, — улыбается немец.

— Именно. Его надо только включить. Ведь для социалистической реконструкции Средней Азии солнце прямо необходимо. Попробуйте забросить уголь без железной дороги. Солнце будет кипятить воду — значит можно поставить по всему каспийскому побережью солнечные опреснители. Это значит, что мертвая, высушенная страна будет жить— будут новые рыбацкие колхозы. К 1937 году в краевой пятилетке вокруг солнечных опреснителей должно быть сто тысяч населения.

— Что еще будет делать солнце?— спросил турист, входя вслед за профессором в трамвай.

— Солнце займет видное место в бытовом обслуживании. Солнечная баня, солнечная столовая, прачечная, — все это легко выполнимые, дешевые вещи. Возьмите консервную промышленность — к 1937 году мы ее на семьдесят пять процентов переведем на солнечное питание. Но что особенно важно, – продолжал профессор, выходя, – это солнечные хлопковые теплицы. Солнце может дать два урожая хлопка в год, — для этого нужно выращивать хлопок в теплицах и весной рассаживать. Холодная зима мешает выращивать кустики круглый год, понимаете?.. Но вот мы и пришли.

Гелиотехническая станция была расположена в песчаной степи, за городом. Белые палатки обозначали лагерь. Вблизи виднелись столбы и странные стеклянные створки.

Турист подошел к своеобразному парнику. На дне парника была поставлена большая сковорода, на которой дымилось что-то похожее на яичницу. Стеклянные створки, откинутые в стороны, ловили лучи солнца и направляли на сковороду, внутрь.

— Сейчас мы будем обедать,—кивнул головой профессор. — Это наша экспериментальная солнечная кухня. Устройство, как видите, простое — лучи концентрируются и нагревают сковороду до ста сорока градусов. Застекление предохраняет от теплопотерь.

Турист нагнулся. Сковорода вкусно шипела. Солнце, обливаясь лучистым потом, добросовестно и хорошо выполняло вновь возложенные на него обязанности повара.

●

— Куда этому толстому чорту придет в голову нас погнать? — спрашивал Гастон Плюшар, рядовой 41-го Африканского стрелкового полка.

Его сосед Этьен шагал, понурив голову, и ничего не отвечал. Песок давил его. Пустыне не было конца. Этьену казалось временами, что песок захлестнул желтой волной весь полк, и они идут по шею в горячем песке, идут и опускаются все глубже и глубже. Вот уже раскаленные песчинки сыплются за ворот, попадают в глаза... Этьен вздрагивает, и спадает песчаный океан - это ветер, резвый, шаловливый ветер, скучающий в одиночестве, задувает песком шагающий отряд.

Далеко впереди взбирается на холм белая лошадь полковника. Полковник неуклюже поворачивает коня, всматривается в растянувшуюся среди дюн человеческую ленту и кричит:

— Сюда! Привал!

Две сотни заведенных человеческих машин внезапно выключаются. Усталость овладевает людьми. Гастон, теряя силы, бежит к холму. Этьен проходит по инерции несколько шагов и падает на горячий песок.

За холмом — несколько палаток и странная стеклянная штука. На дне, где-то под стеклом, сердито кипит вода. Гастон толкает знакомого парня, Жерома.

— Это что?

— Солнечная кипятилка, Гастон, — отвечает Жером, достает голубую кружку с провансальским домиком и с мостиком через быструю речку.

Колониальная политика империалистов опирается на развитую военную технику.

В это время к палаткам подъехал араб с развевающимся белым бурнусом на правой руке. Араб подъехал к полковнику и сказал ему на ломаном французском языке:

— Мы хотим пить. Мы вас не трогаем, вы нас не трогайте.

Полковник задумчиво опустил глаза. Песок ему ничего не ответил.

Тогда полковник выпрямился и решительно кивнул головой.

— Хорошо!

Около сотни всадников показалось за палатками. Арабы сошли с коней и опасливо подошли к кипятилке. Французы и арабы несколько минут смотрели друг на друга. Гастон пристально разглядывал молодого араба с женским перстнем на мизинце.

Затем и французы и арабы принялись пить.

Гастон не заметил, как часть французского отряда куда-то отошла.

Он не видел, как французы кинулись внезапно на арабов, как полетели в песок недопитые кружки. Не видел потому, что шальная пуля впилась ему в спину. И они упали почти рядом у разбитого кипятильника: араб с женским перстнем и французский солдат 41-го Африканского полка — самого храброго из полков прекрасной Франции.

●

Берлин, 1931.

Дорогой Том.

Пишу тебе из Германии и спешу сообщить, что здесь дела еще хуже, чем у нас. Безработица, забастовки — каждый день. В Берлине дьявольски тихо, хотя это очень большой и красивый город. На улицах — нищие, безработные. Проституток—тьма. Пустые кафе, пустые квартиры.

На главной улице, Фридрихштрассе, видел объявление — воззвание союза химиков. „Не поступайте в химические учебные заведения,—пишут эти несчастные ученые. — Безработица среди химиков растет, и никто не может гарантировать работы".

Видел здешних студентов, — эти молодцы за последний год здорово обтрепались, хотя носят свои корпорантские значки и иногда дерутся на шпагах, как во времена Гёте. Таких олухов впрочем не жалко. Жаль профессоров,—у них грошовое жалованье и они буквально бедствуют. Научные работы ведь почти не печатаются, гонораров значит нет. На днях один крупный профессор развелся со своей женой и заявил на суде, что не может ее содержать.

Думаю, что послезавтра буду в Ленинграде.

Твой Тед.

— До сих пор мы говорили о низкотемпературных солнечных установках, — продолжал профессор Вейнберг. — Но есть и другие, в которых мы доводим жар до двухсот-трехсот градусов. Вот смотрите.

В песке стоял черный глобус, окруженный стеклянными щитами.

— Вот этот котел собирает лучи с помощью системы сферических зеркал. Теплопотери здесь сокращаются особыми деревянными сотами, — вот в эти дырочки проходят лучи, а обратно не проходят, потому что отраженные лучи уже не параллельны. Вот с помощью такой установки мы пустим в ход солнечный двигатель — паровую турбину. Будет турбина — будет и насос, который станет качать воду на поля. Сейчас качают воду верблюды, — они ходят по кругу и вертят колесо деревянного насоса. Это — допотопный способ. Верблюда мы заменим солнцем.

Турист задумался.

— Скажите, — вдруг произнес он отрывисто, — что делают с солнцем за границей? Я не в курсе этих вопросов, понимаете.

— Мы — хозяева солнца, — громко сказал ученый. — За границей нет таких установок. Научная гелиотехническая работа ничтожна. Кипятильники, правда, известны в Тунисе,— они служат там для военных целей. Недавно построен солнечный двигатель в Тунисе, но судьба его очень печальна. Смотрите.

„Париж, 1931.

„Дорогой профессор.

„Двигатель, которым вы интересовались, больше не существует. В связи с финансовыми затруднениями, наша фирма сократила оросительные работы, и двигатель пришлось разобрать".

— Там не сумели справиться с солнцем. Солнце — за нас, — улыбнулся профессор. — Кстати, наш двигатель— втрое больший коэфициент полезного действия.

5

Профессор Строгов решительно зашагал к Филармонии. Контроль почтительно пропустил его, — он был, вероятно, похож на академика.

Колонный зал еще не улегся, и человеческие волны перекатывались по каналам проходов. Стол президиума — ослепительно-красный — был пуст. Впереди профессора шел цепью десяток мальчуганов с красными галстуками. Розовая девушка в пунцовом платке предводительствовала.

— Заседания еще нет, — сказала она звонко. — Мы пройдем на выставку.

На выставку, вслед за пионерами, прошел и профессор Строгов. Сквозь широкие щиты он увидел Карелию — тайгу, горы, наконец главную гору — Кукисвумчорр.

— Здесь, ребята, экспедиции Академии наук нашли апатиты — ценное искусственное удобрение, — сказала девушка. — Академия наук, ребята, теперь крепко помогает строительству. Вот Кузбасс, — за щитом расстилался огромный индустриальный город, — вот Магнитогорск. Здесь красные точки — вот на этой карте — это место, где работали экспедиции. Вот Кулундинская степь...

— Товарищ Солнцева, — спросил один из пионеров. — Поясните, как они ищут? Ну, как они узнают, что в земле лежит?

Девушка вскинула глаза к потолку и захватила пальцами кончики пунцового платка.

— Ну, как бы вам сказать, ребята, — замялась она, — ну, во-первых, роют такие туннели, что ли, шурфы называются...

— Извините, — внезапно вмешался профессор Строгов. — Это не верно. Шурфы — вовсе не туннели, а глубокие колодцы, которые позволяют доставать образцы минералов или руды...

Десяток голов с вниманием повернулся к профессору. И бойкий пионер сказал:

— Гражданин, вы должно быть профессор. Вы может быть дополните!

Профессор почувствовал себя на трибуне, среди настороженной аудитории.

— Во-первых, видите ли, все зависит от того, что ищут. Апатиты, например карельский апатит залегает толстым слоем, но на разной глубине. Местами он выходит на поверхность, местами лежит очень глубоко. Тогда нужно прорывать колодцы или взрывать верхние пласты. Кроме таких приемов при разведке применяются и более сложные. Нефть, например, ищут гравиометрическими приборами. Известно, например, что нефтеносная почва должна так-то пропускать электричество, так-то колебаться от взрыва. Разведчики особыми приборами пускают ток, делают взрывы и записывают показания.

— Пошли в зал, ребята! — встрепенулась вдруг девушка. — Звонят.

Девушка быстро увела свой отряд. У самых колонн с профессором поровнялся плотный парень в серой толстовке.

— Простите, — сказал он робко, — я слышал ваши объяснения... Вы ведь геолог, правда? Разрешите мне сидеть рядом с вами во время доклада. Я, видите ли, многого не пойму, пожалуй.

Профессор, подняв брови, взглянул на подошедшего и молча кивнул.

За красным столом поднялся широкоплечий Волгин и произнес:

— Слово для доклада имеет академик Ферсман

— В 1918 году Академия получила от тов. Ленина большое задание выяснить рациональное размещение промышленности в соответствии с запасами.

„Кольскую медь и железо возьмет новый промышленный центр, который возникает в серединной глуши полуострова. Пустынные районы Выга и Кеми увидят мощный химкомбинат. Всю область будет окаймлять рамка силикатных заводов.

„Социалистическая реконструкция отопрет старый земной шар — этот сундук с несметными богатствами, по крыше которого мы ходим. Ключ от земных недр — в руках строящего пролетариата, вооруженного наукой.

„Соединенными усилиями науки и труда мы преображаем землю. Победы научной мысли тесно переплетаются теперь с подвигами энтузиазма многомиллионных пролетарских масс. В Хибинах, как известно, на ряду с разработками продолжается широкая исследовательская работа. Недавно нашим геологам потребовалось срочно прощупать апатит на новом участке, — предстояло решить срочно, можно ли развертывать здесь разработки. Нужно было взорвать верхние пласты на очень большой площади. Своих сил у станции Академии наук для этого нехватало. Тогда ударники разработок в выходной день вышли взрывать гору. Апатит нашли на большой глубине“.

В третьем ряду кресел громче всех аплодировали двое—старый профессор и парень в серой толстовке.

Затем, повернувшись к соседу, профессор спросил:

— Простите, вы рабочий?

— Да!

Видно было, как два человека в третьем ряду, улыбаясь, пожимали друг другу руки.

КАРА

(НАЧАЛО КНИГИ)

Дослык. Ничем непорушимая дружба.

Я и Карабалта заключили ее восемь лет назад в узком пространстве между классной доской и выбеленной стеною. Следуя кыргызскому обычаю, мы обнялись через кривой нож. Мне было четырнадцать, ему пятнадцать.

Школа управляла нами посредством звонков. В ту минуту, когда колокольчик в руках веснушатого сына зубного врача проскользнул в класс и начал катать по воздуху серебряные гривенники, Карабалта, пряча нож, наклонился ко мне и прошептал:

— Дос! Только что я подал заявление в комсомол.

— Карабалта! — крикнул я, задохнувшись от восторга.

— Тише, — зажал он мне рот своей широкой ладонью, — не ори! Учитель идет!

„О, друг! Посмотри на мое тело, как оно стало покрыто дырочками от разлуки...“ Так начал Карабалта свое письмо ко мне пять лет спустя. Он жил тогда в родном ауле и был единственным комсомольцем в районе. „Приезжай, — писал он мне, — здесь работы хоть завались. Для тебя всегда найдется дело и место в юрте“.

Я учился в университете и писал стихи. Небо надо мною было бакинское, заполненное ветром. Споры о диалектике гнали мои мысли вдоль деревянных скамей пыльных аудиторий. Мог ли я приехать?

Это было в год Барса по кыргызскому летоисчислению. Барс родил Зайца. За ним тяжелой походкой пробежал в небе Волк. Наступил год Змея — Джилан. Тысяча девятьсот тридцатый год.

Я приехал во Фрунзе, столицу Кыргызстана, в качестве бригадмильца ленинградской фабрики Союзкино. Прежде чем отправиться кочевать по скотоводческим колхозам, я решил заглянуть к Карабалте.

Сто двадцать верст горной тропки, верхом на иноходце, я покрыл в два дня. Три снежных перевала легли позади копыт моего коня.

На второй день поздно вечером, сидя поперек деревянного седла, безнадежно-жутко я выкрикивал одно короткое слово: Джалдаш! Товарищ!

Мокрые испарения поднимались над землей и обдавали сыростью мои колени. Освещенные сухим светом луны, вокруг меня толпились плоские земляные крыши мазанок, густо поросшие ячменем и маком. Ни один человеческий, ни один собачий голос не откликался на мой зов.

Тогда я ударил коня камчой. Почти одновременно поднялись четыре копыта и понесли меня на другой конец аула. У каждого дома я натягивал повода и, крепко охватив брюхо лошади ногами, протяжно кричал. Потом замолкал, ждал и ждал ответа. В тишине аула отчетливо, почти вслух билось мое сердце.

БАЛТА

Виктор ВИТКОВИЧ

В некоторые двери я ударял деревянной рукояткой камчи. Стуки глухо прокатывались вдоль земляных стен и погружались в мягкую всасывающую тишину.

В одну мазанку я решил войти. Приоткрыв дверь, я громко постучал в нее с внутренней стороны. Стуки, как капли, падали в пустое пространство землянки. Встревоженная моей спичкой темнота расползлась по углам. Внутри никого не было. Селение было покинуто людьми.

Тогда я решился остаться в мазанке ночевать.

Неясные подозрения вырастали вокруг меня всю ночь. Догадки, одна другой нелепее, рылись в полусне моего сознания. Несколько раз я выходил на воздух, беспокоясь за судьбу лошади. Она переступала с копыта на копыто, привязанная к низкому забору, мирно моргая тяжелыми веками и звучно пережевывая мокрую от росы траву.

На заре я проснулся от конского храпа и человеческого голоса. По дороге мимо аула ехали два кыргыза. Раскачивая маленькими головами, под ними бодро трусили кыргызские иноходцы. Это были первые люди, которых я встретил за два дня.

„Верблюды лежат в колючке.
В сундуке виноград.
Плачет черноглазая моя" —

высоким хриплым голосом пел один из них

— Джалдаш!

Мой громкий голос ударил по настороженной тишине. Затем я отвязал коня и сунул ногу в стремя. Через минуту мы ехали уже все вместе.

При плавном свете дня ночные страхи исчезли, оставив ощущение легкой тяжести в плечах. Все разрешилось просто.

Аул откочевал на летовье три недели тому назад. Искать его нужно вон в той горной щели на пастбищах. Знакомы ли они с Карабалтой? Как же! Большая голова! Весь советский аппарат знает, как хозяин не знает своей кобылы! Хороший человек, да не поместится за пазухой его радость!..

Тонкий конец камчи ударил по конскому животу, оставив белый, молочного цвета след, и горы начали надвигаться на меня.

Отроческие годы плыли навстречу моим мыслям. Воспоминания о том, как мы с Карабалтой воровали яблоки и виноград в узбекских садах, играли в перышки на уроках физики и бегали вместе купаться на Салар, потом, мокрые, счастливые и свежие, неслись домой, задыхаясь от смеха и бега.

Внезапно ровный голос цибыски, горной свирели, скатился навстречу с горы и перекрыл собою все остальное. Я поднял голову. В небе колесило солнце. Где-то на заднем плане передвигались облака.

Из-за широких ветвей, стремительно несущихся в лицо и пролетающих над головой, я увидел необычную процессию. „Похороны! — прокатилось у меня по языку. — Странно, что нет плакальщиц".

На носилках, связанных из тонких стволов, покрытых войлоком, завернутое в светлый мешок, покачивалось тело человека. Около сотни верховых кыргыз, сгрудившись, ехало вслед. Один из них перебирал пальцами по дырочкам цибыски, выдувая из нее жалобную мелодию. Рядом с покойником десятилетний мальчишка вез венок из еловых веток, гордо держа его над лошадиной мордой. В венок была вплетена старенькая красная лента.

— Убили, — сказал мне просто партийный работник, приехавший из города. — Ну да! Карабалту убили кулаки.

Плащ партработника поплыл у меня перед глазами. Клокочущие звуки наполнили мою гортань, заткнутую большим куском языка. Я почувствовал себя нехорошо и, покачнувшись, едва не упал с лошади.

— Вон и кулаки едут! — добавил он спокойно, показывая глазами на толстого бая, грузящего на иноходца в густой толпе кыргыз.— Вы должны помочь мне арестовать бая, пока он не откочевал с остатками скота в Кашгарию.

Последнее движение — и носилки плотно и неподвижно становятся на свежий грунт. Речи, от которых перехватывает горло. Первая горсть земли, брошенная дрожащей старческой рукой, и сквозь рыдания — тяжелые слитки земли, глухо падающие на смолистые доски. Потом невысокая призма из сырца, затерянная среди холмов и облаков у края дороги. Венок с красной лентой и написанными на ней теплыми человеческими словами. Судорожное рыдание конских подков, развозящих по юртам друзей покойного. Опустевший воздух. Ветер и птицы над землей. Конец.

На Кубани распоясавшиеся кулаки укладывают колхозника из обреза и поджигают его хату. В Кыргызстане его долго и бесхитростно режут ножом где-нибудь в укромном месте.

Суть же везде остается одна. Капиталистические элементы деревни бешено сопротивляются социалистическому наступлению.

Карабалта вернулся в юрту своего отца с весьма удовлетворительными знаниями по математике. Но естествознание и обществоведение больше привлекали его (за шесть лет перед тем он удрал из дому в Ташкент искать счастья).

Мать встретила Карабалту ласковым подзатыльником и угостила изысканным блюдом — аталой, мукой, разболтанной в воде.

Отвыкший за время учебы в школе от скудного быта и еды, Карабалта хотел на следующий день сбежать обратно в город, но, осознав свой комсомольский долг, остался ходатаем бедняцких интересов в районе.

Он разогнал кулацкий аульный совет и научил отца приготовлять превосходный борщ из щавеля и каких-то ему одному известных трав, заправляя его кислым молоком и густо посыпая красным перцем.

Через несколько месяцев Карабалту знали все в районе. Баи его боялись и уважали.

Кулацкий „рыжий", позже высланный из пределов Кыргызстана за контрреволюционную агитацию, под оглушительный хохот жителей соседнего района, жевал бараний хвост себе в зубы и тер лицо кирпичом, пародируя культурные навыки комсомольца-заправилы.

Карабалта научил читать, писать и понимать по-русски четверых парней и сколотил из них комсомольскую ячейку. Букварей на кыргызском языке тогда еще не было.

Вместе с ячейкой в течение нескольких лет Карабалта проводил все советские мероприятия в районе. Он же был организатором скотоводческого колхоза.

Весною от Желтого моря до низких бревенчатых деревень Полесья прокатился лозунг о ликвидации кулачества как класса. По кыргызским аулам разъезжали особые комиссии, отбирали скот у байства и переделяли его между бедняками.

Хитер был бай аула, в котором жил Карабалта. Он разогнал свой скот по всему хребту, раздавая его бедным кыргызам. Некоторых из них он запугивал, некоторых одаривал, заставляя всех показывать, что скотина принадлежит им. Комиссия должна была благополучно прокатить мимо, а скот небольшими струйками стекаться обратно в байские пухлые руки. Сорок верблюдов. Шестьсот кобылиц. Тысяча триста баранов.

Подъехал бай к юрте Карабалты. Соскочил с коня. Вытянулся у порога, заслонив солнце своей толщиной, и стал комсомольца упрашивать:

— Двадцать кобыл колхозу пожертвую. Тебе кашемирский ковер подарю... Каждый день бишбармак есть будешь... Младшую дочку без калыма отдам... Новую юрту поставлю... Не выдавай только!

Выгнал его Карабалта.

Бежал бай к своей юрте, волоча за собой коня. Распахивались от встречного ветра широкие полы его ватного халата, обнажая сухую грудь. Нос от злобы стал синим. „Я этому щенку покажу!" — выкрикнул откуда-то из-под него мясистый рот. Затем юрта, расписанная незатейливым кыргызским орнаментом, приняла бая в свои теплые объятия.

Через четыре дня со стороны Капчигая приехала комиссия. Конечно она остановилась в юрте Карабалты. Само собой понятно, что к вечеру по всему хребту был передан приказ о пригоне байской скотины. Тою же ночью Карабалта вышел напиться к ручью — и не вернулся. Его нашли утром двумя верстами ниже с перерезанным горлом.

Над могилой Карабалты партийный работник произносил речь. Я ничего не могу прибавить к его словам. Он слегка раскачивал в воздухе полуторафунтовым кулаком. Слова рвали ему гортань.

— Дорогие товарищи! Кулачество опять вырвало из наших рядов преданного друга и бойца. Не смейте плакать, товарищи! Велико наше горе, но и сила наша огромна. Товарищи, надо ударить по байству как социальному злу нашим тяжелым, рабоче-дехканским и красноармейским кулаком. Выметем же навсегда капиталистическую гидру из нашего революционного кантона. Вступайте в партию. Мы победим, товарищи!..

Тем же вечером я вызвал бая обманным путем, будто бы для переговоров о взятке, в ближайшую рощу. Вдвоем мы его осилили, заткнули воловью глотку, связали, взгромоздили на коня и понеслись, догоняя ветер, в стольный град Нарын.

Полтораста верст мы летели по бараньим тропам. За нами шелестела травой погоня, организованная близкими родичами бая. На виду городского укрепления она остановилась и повернула вспять.

Мы въехали в поселок. Вечернее солнце бросало багряные отблески на бритое лицо покорившегося бая. У края дороги качали длинными хвостами трясогузки. Жизнь шла обычным путем.

У З Н И К И
С К О Т Т С Б О Р О

На станции Пейнтрок огромная толпа дожидалась поезда. Прошло около двух часов с того момента, как по рельсам бешено простучал южный экспресс... Его встречала только молчаливая платформа да высокий элеватор, отразивший на своей облезлой кирпичной раскраске сверкание зеркальных окон экспресса. Но в сумерки, точно повинуясь призыву какой-то безмолвной трубы, все мужское население Пейнтрока явилось встречать товарный состав. И когда из темноты вдруг взглянули расширенные багровые глаза паровоза, когда он со ржавым скрипом и оглушительным шипением переполз на запасный путь, подтягивая вереницу серых пустых вагонов, толпа с ревом и проклятиями атаковала состав...

Девять случайных пассажиров, девять негритянских подростков были выброшены из товарных вагонов и предстали перед полицейскими, как ужасные преступники, пытавшиеся изнасиловать двух белых „девушек", ехавших в том же товарном поезде. Тут же возникла мысль о Линче. Ее развивали мрачные джентльмены, окутанные таинственной репутацией членов Ку-Клукс-Клана. Без балахонов, без шутовских колпаков, в обыкновенных пиджаках и ординарных шляпах, они казались реальнее и страшнее. Полицейским стоило большого труда отнять молодых негров от любителей Линча, для того чтобы сохранить их жизни для профессионалов-линчевателей.

Это произошло 25 марта 1931 года... Открывалась новая страница страш-

ной трагедии в штате Алабама. Уже 7 апреля судья Хоккинс, председательствовавший на судебном процессе в Скоттсборо, заранее зная приговор присяжных заседателей, вышел на балкон, чтобы бросить „успокоительные“ слова разнузданной уличной толпе:

— Не беспокойтесь джентльмены! Смертный приговор, который вынесет суд, будет по существу равносилен тому же линчеванию...

Действительно, 8 апреля был оглашен приговор. Из девяти подсудимых только дело четырнадцатилетнего Рой Райта в виду его возраста было выделено и отложено. Остальные были приговорены к смертной казни на электрическом стуле. Согласно „закону“ судья назначил казнь ан 10 июля.

Целый год „молодые смертники Алабамы“ ждут казни, или освобождения в тесных клетках тюрьмы Скоттсборо.

Их абсолютная невиновность доказана уже в первый день суда. В своих письмах к родным и друзьям мальчики заявляют: „Мы не виновны. Это знают и наши судьи и наши будущие палачи. Но мы негры, у нас черная кожа, к тому же мы только рабочие. Нас хотят сжечь только за то, что кожа наша черна, а наши товарищи не хотят умирать от голода и начинают борьбу против господствующего строя... Убивая нас, буржуазия хочет запугать остальных и остановить нарастающее движение масс трудящихся, как черных, так и белых...“

Год мучительной пытки... Приговор проходит различные инстанции юстиции „свободной“ Америки.

За это время развивает лихорадочную деятельность Ку-Клукс-Клан штата Алабама. Эта организация поджигателей, громил и убийц, вобравшая в себя все „высшее общество“ южных штатов, согласно своей программе призвана „социально устрашать“ „непокорных“ и „бунтующих“. Она рассылает письма, грозит, подкупает, устраняет с дороги сопротивляющихся. Она решила, что мальчики должны превратиться в обугленные трупы. Судья и прокуроры — сами члены Ку-Клукс-Клана—делают все возможное, чтобы казнь состоялась. Протесты трудящихся Соединенных штатов, буря возмущения, охватившая весь земной шар, выступления ученых, писателей, артистов — все это лишь усиливает тупую ярость фашистов.

„Мир протестовал, но мы сожгли Сакко и Ванцетти... Мир вновь протестует, но что значит этот протест для нас? Мы сожжем негров, ибо наш закон неустрашим и неподкупен“ — так заявил на днях один из видных руководителей Ку-Клукс-Клана Алабамы, плантатор Мак-Девис.

Казнь назначена на 6 апреля. Верховный суд штата утвердил приговор.

Восемь юношей негров должны быть сожжены во имя звериной ненависти „стопроцентных янки“ к черной коже и более того, во имя классовой ненависти финансовой олигархии к борющемуся классу пролетариев.

Будет ли выполнен приговор?

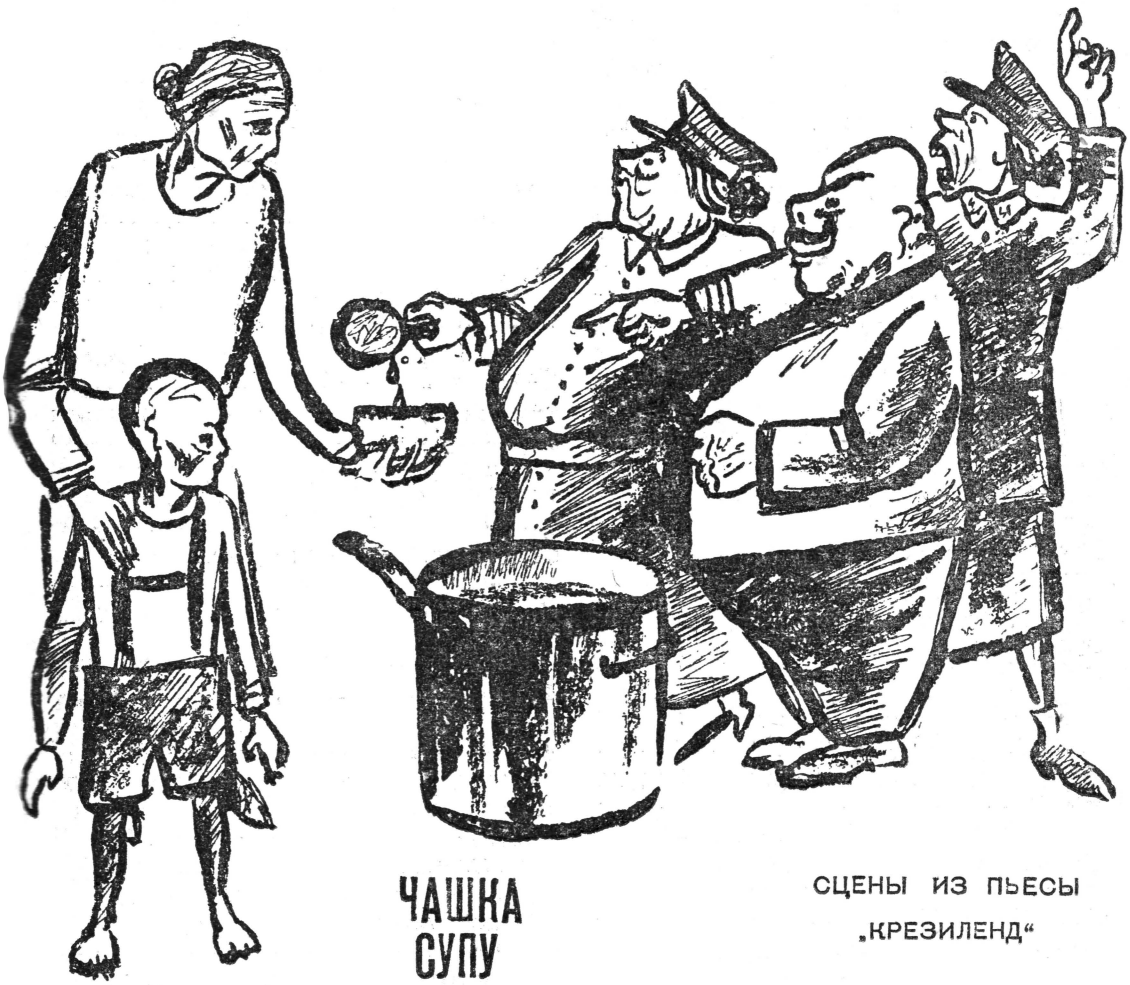
Трудящиеся массы негров САСШ сделают нужные выводы. Они поймут, что для уничтожения позорного института, установленного американской буржуазией, нужно разрушить в целом всю систему, национального угнетения, эксплоатации и бесправия. И в борьбе с этим строем они не будут одни.

Единый фронт белых и черных рабочих САСШ под руководством компартии поведет эту исторически неизбежную решительную борьбу за диктатуру пролетариата.

ФИТИЛЬ ЗАЖЖЕН

А. ВЛАДИМИРОВ

Рисунки С. ВЕРХОВСКОГО



ЧАШКА СУПУ

СЦЕНЫ ИЗ ПЬЕСЫ „КРЕЗИЛЕНД“

Столовая для безработных при городском муниципалитете. Длинный, темный сарай, наспех сколоченный из старых досок. Грязно. На полу валяются объедки пищи, окурки, обрывки газет. К концу сарая, у стойки, дымится несколько котлов. На стене висит фанерный щит, сообщающий крупными электробуквами меню столовой на неделю: „Понедельник — суп из кубиков Магги с овощами и 100 граммов ржаного хлеба. Вторник — суп из Магги и 100 граммов ржаного хлеба. Среда — суп из экстракта Магги и 100 граммов ржаного хлеба. Четверг — суп из...“ На конце щита крупными красными буквами надпись: „никакие просьбы о добавочных порциях не допускаются“.

Две женщины не спеша возятся около стойки и котлов. Они одеты в форму Армии спасения. Это — сухопарая фрау Кюнстер и толстая фрау Мильк. В закрытые двери сарая изо всех сил стучат снаружи.

Слышны гневные выкрики безработных: „Открывайте скорее!“ „Мы — голодны!“ „Время уже давно пришло!“ „Давайте вашу бурду!“

Фред *(за дверью шутливо).* Эй, тетка Мильк! Если ты сейчас же не откроешь своей лавочки, я разнесу дверь и съем тебя!

Вар *(поддерживает шутку).* И не промажешь, Фред! Она ведь не ест нашей бурды и жирна, как откормленная к рождеству индюшка!

Опять кричат. — „Эй, старые лахудры, оглохли вы, что ли?“ Женщины в форме Армии спасения не обращают никакого внимания на долетающие в сарай крики безработных.

Мильк *(злобно)*. Когда же наконец перемрет эта рвань?

Кюнстер. Ах, как они мне надоели, фрау Мильк!

Обе *(подходят к дверям, елейными голосами)*. Дорогие братья и сестры! Имейте терпение! Сохраняйте порядок! Сейчас должен притти герр шуцман, и при его помощи мы откроем дверь. Воспользуйтесь ожиданием, чтобы перед принятием пищи вознести молитву богу.

Фред *(изо всех сил орет на улице)*. Пошлите ко всем чертям вашего бога!

1-й безработный. Не заговаривайте нам зубов, а то у нас чересчур разболятся животы!

С противоположной стороны в сарай входит шуцман. Он высок, толст, краснощек. Приветливо улыбается женщинам.

Шуцман. Добрый день, фрау Кюнстер, добрый день фрау Мильк! Как вы поживаете? *(Подходит к котлам. Поднимает крышки. Нюхает.)* Б-р-р-р! Ну и гадость! Один клейстер! *(Подмигивая женщинам)* Если бы господин начальник пообещал объявить мне благодарность в приказе или *(галантно изгибаясь)* вы, фрау Кюнстер, согласились отправиться со мной на воскресную прогулку, я бы все равно не взял в рот ни одной ложки этой гадости! *(Подходит к дверям и берется за засов. Кричит, краснея от натуги)* Эй, вы там! Стать смирно! Установите порядок. Пока не установится полнейшая тишина, никто не получит ни ложки супу. Слышите, я вам говорю! Установите очередь!..

Жена Фогта *(измученным голосом)*. Товарищи, тише! Они опять, как в прошлый четверг, смогут придраться и не выдадут нам супа!

Голоса: „Тише, тише!“ Шум смолкает. Шуцман медленно отодвигает засов.

Дверь столовой распахивается, и в сарай, стуча чашками и ложками, врывается толпа безработных.

Шуцман *(откинутый толпой в самый угол, надрываясь, кричит оттуда)*. Фрау Кюнстер, не начинайте отпускать суп. Пусть эта рвань успокоится!

Из противоположной двери появляется управляющий столовой социал-демократ Шток.

Шток *(отпрянув назад, испуганно)*. Сумасшедшие! *(Прячется снова за дверь)*.

Вместе с толпой безработных в сарай проникают маленькие ребятишки. Они как воробьи роются в объедках пищи и грудах неубранного мусора. В столовую врывается мальчишка-газетчик.

Газетчик. Журнал „Фольксэрнейерунг“! Журнал „Фольксэрнейерунг“! Орган филантропического общества „Народное питание“! Всего два пфеннига!

Чтобы привлечь внимание публики к своей персоне, газетчик прошелся по столовой колесом, стал на голову, держась на одной руке... Никто, даже ребятишки не обращают на его штуки никакого внимания.

Газетчик *(бросаясь цирковым приемом под ноги 1-му безработному)*. Дяденька, купи журнал!

1-й безработный. Убирайся-ка ты, малыш, ко всем чертям! С твоим журналом я так же подохну с голоду, как и без него.

Газетчик *(упруго отскакивая от безработного)*. Сенсация! Сенсация! Только из „Фольксэрнейерунга“ вы узнаете, как половинка огурца и двести граммов мяса могут прокормить целую семью в течение целой недели!

Наталкивается с размаху на входящего в столовую Штока.

Шток. „Фольксэрнейерунг“?.. Полезный, весьма полезный журнал! Побольше бы таких журналов, и мы

одолеем „гуверовскую“ зиму! *(Бросает газетчику мелкую монету.)* Отнеси один номер ко мне в контору!

Газетчик убегает. Шток проходит на середину столовой. С приходом Штока в столовой устанавливается полнейшая тишина. Появляется хор Армии спасения. Хор выстраивается у стены.

Хор Армии спасения *(поет псалом).*

Да умрет кумир телесный,
Материальный идеал!
Дай, чтоб идеал небесный
Над страною воссиял!
Дай, чтоб меч ей был не нужен,
Чтобы сгинула война,
Чтобы жизненных жемчужин
Не губила впредь она!..

Позвякивая брелоками золотой цепочки, Шток обходит фронт очереди. На ходу бросает отдельным безработным лицемерные реплики.

Шток *(обращаясь к Вару).* Организованность и выдержка — это самое главное в наше тяжкое время, товарищ Вар! Мы, социал-демократы, против бандитских приемов коммунистов! *(Обращаясь к 1-му безработному)* Ну, как поживаешь, старина Рэд? Передай мой привет твоей старухе! *(К жене Фогта)* А-а-а, фрау Фогт! Добрый день! Мне на днях господин учитель хвалил вашего сына. Поздравляю вас, поздравляю! Германия еще нуждается в толковых и грамотных рабочих.

Иные из очереди униженно приветствуют Шока. Некоторые демонстративно отворачиваются. Большинство относится с безразличием к персоне Шока и к его вкрадчивым речам.

Хор Армии спасения *(поет).* Да умрет кумир телесный, материальный идеал...

Шток переходит к группе ребятишек, копошащихся на полу. Хорошенькая Хильда привлекает особое внимание Шока. Девочка, усевшись на полу, грызет найденную на полу кость.

Шток *(умильно).* Милая крошка, почему ты ешь эту гадость? Отчего ты не кушаешь свой суп?

Хильда *(робко).* Сегодня не моя очередь кушать, господин Шток. Сегодня кушает моя сестра.

Шток *(пропуская мимо ушей ответ Хильды).* Ты можешь заболеть от употребления несвежей пищи, и твои хорошенькие глазки потускнеют!

Поднимает девочку с пола. Незаметно от других, поглаживает ее руки, грудь, плечи.

Хор Армии спасения *(поет).* Да умрет кумир телесный, материальный идеал! Дай, чтоб идеал небесный над страною воссиял...

Безработные, стоявшие в очереди первыми, получили уже по чашке супа и по порции хлеба и отходят в сторону. Иные из них бережно заворачивают хлеб и прилаживают поудобнее в руках свои чашки с супом. Большинство однако не выдерживает и с жадностью набрасывается на еду.

1-й безработный. Попробуй, Фред. Ну и гадость!

Фред. Одна вода!

2-й безработный. У тебя плавает хоть что-нибудь?

Фред. Абсолютно ничего! *(Повышая голос)* Им жалко опустить сюда хотя бы крошечный кусочек мяса. Живодеры!

3-й безработный. А у меня в чашке тряпка!

Вар *(получающий из рук фрау Кюнстер чашку с супом).* А у меня муха. *(Не в силах сдержать свою ярость)* Сволочи, воры! *(Кричит на весь сарай)* Жрите сами вашу падаль!

С размаху выплескивает содержимое чашки в лицо подвернувшейся под руку фрау Мильк. Мильк пронзительно, по-рыночному визжит. Хва ается руками за лицо.

Общая суматоха.

В столовую поспешно входит представитель концерна Бубби и Кук.

Представитель концерна Бубби и Кук *(обращаясь к шуцману).* Шуцман, что здесь происходит? Почему такая неразбериха? *(Шуцман вытягивается в струнку. Молчит.)* Что же вы молчите,—я вас спрашиваю?! Почему у вас такой глупый вид? *(Не дожидаясь ответа, энергичными шагами, как человек, которому дорого время, выходит на середину столовой. Сняв цилиндр и вытирая на лысине пот, начинает говорить.)* Я—представитель мирового концерна Бубби и Кук. Концерн Бубби и Кук идеально быстро и дешево, по самым сходным ценам, уничтожает затоваренные запасы продовольствия. Только наш концерн обладает секретом эозинации, то есть отравления продуктов, разработанным для концерна немецким ученым Галлером!.. *(С пафосом)* Концерн Бубби и Кук не знает кризиса. Мы выплачиваем держателям наших акций самые высокие дивиденды! *(Делает паузу, чтобы подчеркнуть самое эффектное место в своей речи.)*

Фред. Ты не знаешь, Вар, о чем болтает эта коротконогая обезьяна?

Вар. Понятия не имею!

Фред. Он рассказывает нам сказку... „Концерн, который не знает, что такое современный кризис"... Сплошная чепуха!

Вар. Очередное жульничество господ спекулянтов! *(Отворачивается.)*

Представитель концерна Бубби и Кук *(с предельной выразительностью).* Концерн Бубби и Кук—единственный во всем мире—не знает сокращения рабочей силы! *(Победно кричит)* Мы не даем государствам ни одного безработного! По силе возможности мы даже разряжаем безработицу!..

Все в волнении.

Представитель концерна Бубби и Кук *(деловым тоном).* Концерн Бубби и Кук производит в настоящее время набор рабочих. Записываться в кандидаты можно у меня.

1-й безработный. Он нанимает рабочих?!

2-й безработный. Он даст нам работу?!

Вар *(кричит)*. Запишите меня! Моя фамилия Вар!

Все. И меня! И меня!

Представитель концерна Бубби и Кук *(кричит капризным тоном)*. Шуцман, шуцман, да установите же порядок! Чорт вас побери! Я не привык работать в сумасшедшем доме. В очередь! В очередь! Коммунисты и члены красных профсоюзов, отойдите в сторону! Социал-демократы с партийной книжкой на руках могут подходить без очереди!

БЕКОН

Огромный склад готовых изделий крупного беконного завода. Склад буквально ломится от избытка готового товара, который уже некуда складывать. Вся задняя часть склада завалена готовым беконом, частью сложенным в ящики. Конвейер зозинирующей машины расположен на переднем плане. Он представляет собой (грубо) широкую ленту, передвигающую ящики с беконом от рабочего к рабочему. Склад забит товаром, и для конвейера нехватает места. Он лепится на самом конце склада.

На стене склада выведена крупная надпись, сделанная от руки мелом: *„Работа по отравлению готового бекона производится по особому заказу 1-й оперативной группой концерна Бубби и Кук"*.

Сидя у начала конвейера, 1-й рабочий управляет работой сольного крана, который стаскивает со штабеля ящики с беконом и опускает их на ленту конвейера. Ящики сами собой ползут по конвейерной ленте и попадают во второе гнездо конвейера, где 2-й рабочий отбивает крышки у ящиков. Из второго гнезда конвейера ящики поступают к специальной установке, эозинирующей машине, по внешней форме напоминающей огромный пульверизатор. Рабочий в противоипритном костюме нажимает рычаг эозинатора и опрыскивает содержимое ящиков. 4-й рабочий работает на конце конвейера. Он опускает в ящики автоматический штамп „Эозинировано" с виньеткой из костей и черепа.

Вся работа по отравлению готового бекона ведется в очень быстром темпе. Однако масса готового бекона с каждой минутой увеличивается. Готовый бекон подтаскивают на руках, привозят на автокарах, переправляют из цехов завода по верхней передаточной ленте.

Старый рабочий Бриггс в волнении бегает по фронту конвейера, размахивая кулаками и громко ругаясь.

Док Бриггс. Живей, живей! Поворачивайтесь! Концерн не желает платить неустойки из-за вашей непоповоротливости... *(Обращаясь к рабочему, открывающему ящики)* Эй, Шлезвиг, тут тебе не завод Форда, а оперативная группа по эозинации. Что ты пропускаешь ящики неоткрытыми? А-а-а! Я тебя спрашиваю или твою прабабушку? *(Набрасываясь с кулаками на 4-го рабочего)* Как ты ставишь штампы? Дубина! *(Указывает на проходящий по конвейеру ящик)* Разве это штамп? Это — клякса чернильная, а не штамп. Кто здесь прочитает, что эозинацию производил концерн Бубби и Кук? *(Впадая в пафос)* Великий концерн Бубби и Кук, известный всему миру? *(Замахиваясь кулаками на рабочего)* Получай же две марки штрафу и в придачу...

Входят инженер Бетлер и экскурсанты. Бриггс замирает на месте с вытянутой рукой и сжатым кулаком.

Бетлер *(укоризненно)*. Ты опять дерешься на людях, Док? Когда же ты наконец отвыкнешь от своих армейских привычек? Своим поведением ты компрометируешь концерн Бубби и Кук перед господами экскурсантами. Понимаешь?

Док Бриггс *(опуская руку и стоя на вытяжку)*. Точно так, понимаю. *(Вполголоса к 4-му рабочему)* А с тобой я еще расправлюсь, грязная скотина!

Бетлер. Ну вот, вот!

1-й экскурсант. Какой огромный склад!

2-й экскурсант. И сколько колбасы!

1-й экскурсант. Совсем не колбасы, а рыбы. *(Укоризненно)* Как ты этого не знаешь.

Док *(смущаясь и в то же время чувствуя себя обязанным разъяснить недоразумение)*. Видите ли, это не рыба... Это — свинья... Это... соленокопченый боров... Ну... Бекон, одним словом.

1-й и 2-й экскурсанты. Соленокопченый боров? Бекон?

1-й экскурсант. А где растет этот бекон?

Док. Бекон нигде не растет. Его делают здесь на заводе... Берут свинью, опаливают шерсть, распарывают ей живот, вытаскивают оттуда кишки...

1-й экскурсант. Распарывают живот, вытаскивают кишки — и свинья визжит, как зарезанная... Исключительно. *(Обращаясь к инженеру)* Я хотел бы посмотреть, как вытаскивают у живой свиньи кишки. Пойдемте, покажите нам. *(Идет вперед.)*

Бетлер. Осторожней, не подходите близко к аппарату. Вы можете почувствовать себя дурно.

1-й экскурсант *(испуганно)*. Дурно! *(Отскакивает как можно дальше от эозинатора.)*

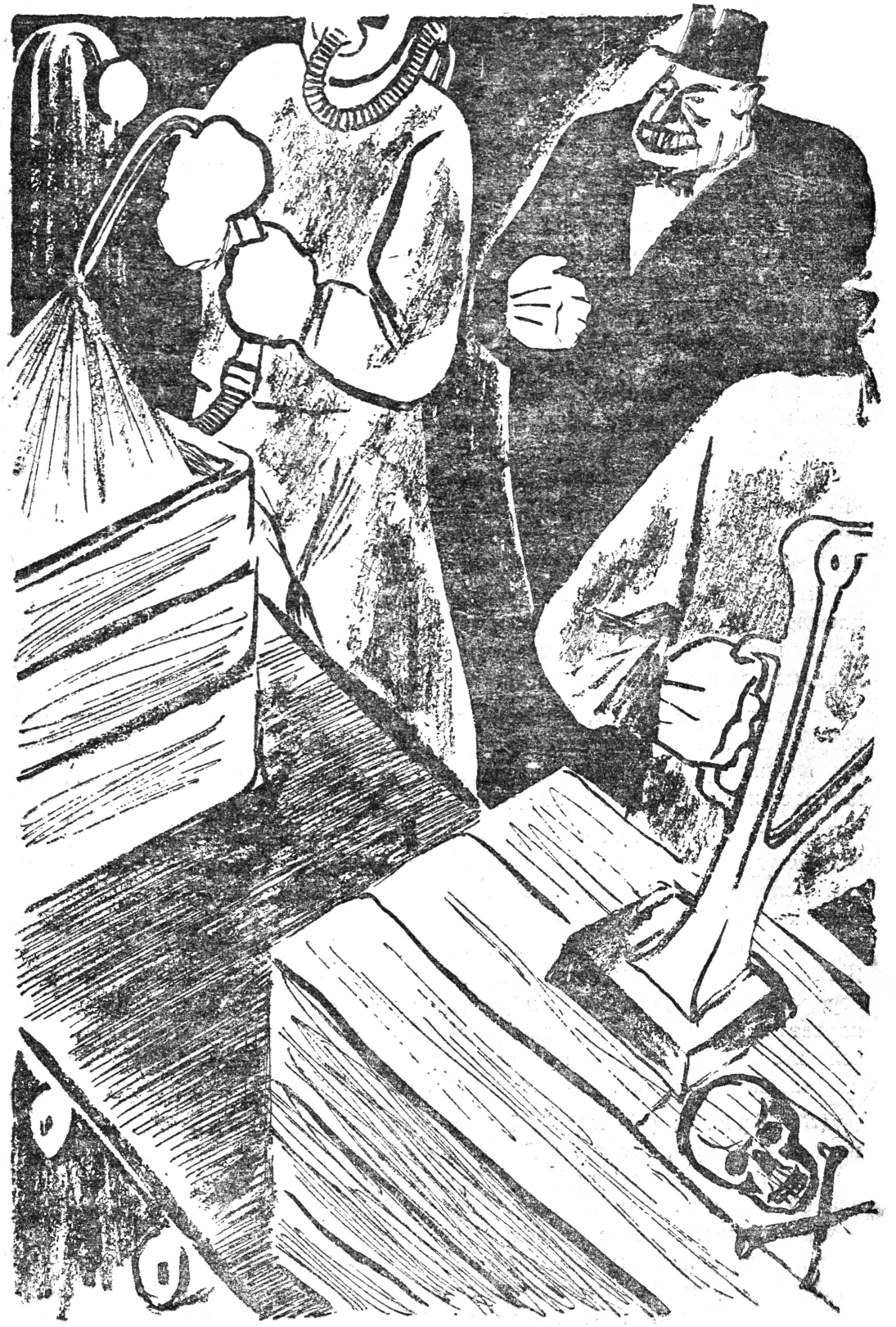
Бетлер *(смущенно)*. Да нет, это не так опасно. Конечно, если долго дышать эозиновыми испарениями, тогда действительно эозин может вызвать дурноту. А так... Ведь вот старина Док *(показывает на Дока)* круглый день здесь и — здоров, силен, доволен... Ведь верно, Док?

Док. Точно так, господин инженер. При керосине много хуже было. У меня постоянно болела голова и к вечеру пропадал аппетит, мистер Бетлер.

1-й экскурсант. Что значит — при керосине? Что вы этим хотите сказать?

Док. Мы начали с керосина. Но об этом получше меня расскажет вам господин Бетлер.

Бетлер *(принимая позу профессора на кафедре)*. Видите ли, когда наш концерн Бубби и Кук только еще приступил к массовому... э-э э-э...



уничтожению пищевых... э-э-э... продуктов, мы употребляли... э-э-э... как средство отравления керосин. Но керосин был порочным средством. Во-первых, его требуется чрезвычайно много и себестоимость уничтожения товаров была слишком высока. И главное—люди все же поедали на свалках продукты, облитые керосином... Теперь с этим покончено. Один старикашка, по фамилии Галлер, изобрел дешевый способ полного отравления пищи. Этот способ он назвал эозинацией. Бубби и Кук купили и за недорогую сравнительно плату старикашку Галлера вместе с его эозином и с патентом на изобретение, и отныне уже никто не рискует прикоснуться к продуктам, прошедшим через наши эозинатора.

1-й рабочий *(глухо)*. Рискуют-то рискуют. И очень многие рискуют, когда в срочном порядке требуется отправиться в полицейский морг.

Бетлер. Кроме того, применение эозина необычайно ускоряет процесс отравления продуктов и приведения их тем самым в полную непригодность.

Главный инженер Вальтер *(поспешно вбегая в склад)*. Что вы там болтаете об ускорении, Бетлер? Ваш конвейер ползет как черепаха. Вы останавливаете все производство. Я заявляю вам. Я, как главный инженер, заявляю вам, что беконный завод порвет договор с вашим концерном, если вы не ускорите темпа уничтожения нашей продукции.

Док Бриггс *(Бетлеру)*. Я принимаю все меры, господин Вальтер. Конвейер все время работает без единой поломки. Мы подняли производительность более чем в два раза. Если вчера мы уничтожили... уничтожили *(достает из кармана записную книжку и читает)* тысячу триста пятьдесят две тонны бекона, то сегодня фактически за две трети рабочего дня уже отравлено две тысячи сто тонн. И эта цифра должна быть обязательно доведена до трех тысяч тонн суточного плана.

Вальтер *(не слушая Бриггса)*. Вы сорвете нам всю программу действий, Бетлер. Уже на рынке начинает ощущаться недостаток в беконе, и цены поползли в гору. Еще немного — и мы, пожалуй, выйдем победителями. *(Кричит в волнении)* Мы заставим всех забыть, когда существовали эти проклятые низкие цены.

Бетлер. Но мы принимаем все меры, чтобы угодить вашей компании, Вальтер. Концерн не скупится на средства. Мы направили наших представителей на биржи труда и в столовые для безработных, чтобы нанять для наших срочных заказов дополнительную рабочую силу. Да, вот кстати.

Входят представитель концерна Бубби и Кук, потом Вар, Фред, 1-й, 2-й и 3-й безработные.

Представитель концерна. Как видите, господин Вальтер, *(жестом комивояжера показывает на столпившихся безработных)* концерн не жалеет затрат.

Безработные оглядывают склад и вдруг видят огромные кучи бекона.

Фред. Бекон! Бекон! Смотрите, сколько бекона!

Подбегает к ящикам и выхватывает из кучи кусок бекона. За ним устремляются Фред и остальные безработные.

1-й рабочий *(к безработным)*. Этот — не отравленный. Ешьте, ешьте, ребята. Здесь разрешается есть сколько угодно.

Вар, Фред и 1-й, 2-й и 3-й безработные едят.

Фред. Смотри, Вар, не объедайся!

Вар. Чорт побери, как вкусно! Я никогда в жизни не ел такой вкус-

ной свинины. *(Бросает обглоданный кусок и берет новый кусок из отравленного ящика.)* Она прямо тает во рту. И сколько жиру! *(На мгновение перестает есть, шатается, мучительно кричит.)* О-о-о! Как плохо! Плохо... Все потемнело... Кружится, кружится... Воздуху... Дайте воздуху... *(Падает.)*

Фред *(склоняясь над Варом)*. Весь посинел... Не дышит... Готов... *(Со злобой поднимается и напряженно вытягивается во весь рост. Кричит, указывая на сбившихся в кучу Бетлера, Вальтера и Бриггса)* Вот они. Они — убийцы!

Безработные сбиваются в тесную группу. Рабочие конвейера бросают работу и присоединяются к безработным. Конвейер работает вхолостую.

Бриггс *(надрываясь кричит)*. Не сметь бросать работу! Всех рассчитаю. Обратно! Обратно!

Рабочий Майкл *(сбрасывая противопритоновый костюм)*. Закрой глотку, унтер. Твоя песенка на сегодня спета. *(Обращается к рабочим и безработным.)* Фред прав, товарищи. Это они виновники в смерти Вара и тысячах других смертей. Они отравляют продукты, чтобы поднять цены, а сотни тысяч, миллионы рабочих голодают.

1-й безработный *(перебивая Майкла)*. Чего тут разговаривать долго. Убить их! Убить! *(Бросается с кулаками на Бетлера и Бриггса.)*

Майкл. Стойте, стойте! Мне пришла в голову отличная идея. Пока лишь свяжите эту публику.

Бетлер. Пустите меня. Пустите меня. Я не виноват. Я — только исполнитель.

Фред сцепился с Бриггсом. Бриггс сильным ударом сшибает с ног Фреда и выбегает из склада.

Фред *(поднимаясь, окровавленный, с пола)*. Эта грязная скотина вырвалась, Майкл.

Майкл. Ну, сейчас явится полиция. Торопитесь. Надо успеть вынести весь бекон. Вон там *(указывая рукой на противоположный конец сарая)* вон там, я знаю, есть выход на улицу...

1-й рабочий *(непонимающе)*. Вынести бекон? Зачем? Куда?

Майкл. Как куда? На улицу Кеслин. На этой улице немало голодных и безработных. Или ты думаешь иначе, товарищ?.. Словом, ты, Фред, встань у дверей снаружи и смотри не зевай, гляди в оба. Полиция явится скорее, чем мы ее ждем. А вы двое *(показывает на 1-го рабочего и 2-го безработного)* возьмите тело товарища Вара и отнесите его в дом районного комитета. Наберите на улице Кеслин побольше людей, способных еще таскать тяжести, и приведите их в склад. Но как можно скорей! *(Кричит)* Торопитесь, товарищи! За дело, за дело! Шуцманы не станут нас ждать.

Фред выходит за дверь. 1-й рабочий и 1-й безработный поднимают тело Вара. Майкл, все рабочие и безработные обнажают головы. 1-й рабочий и 1-й безработный, неся тело Вара, безмолвно выходят из склада через противоположный выход. 2-й и 3-й рабочие и 2-й и 3-й безработные и Майкл накладывают бекон в пустые ящики. 2-й рабочий и 2-й безработный взваливают на себя по ящику и тащат их из склада.

Представитель концерна *(связанный)*. Тебе, малый, это дельце не пройдет даром. С удовольствием приду посмотреть, как тебя станут вешать за эти штуки.

Майкл. Ладно, ладно, не угрожай. Пока неизвестно, кто-то из нас будет висеть первым. *(Снова принимается за работу.)*

Фред *(появляясь в дверях)*. Полиция. Удирайте скорее. Я попробую

занять их на некоторое время своей персоной.

Майкл. Полиция? Так. Так. Стойте! *(Кричит)* Нашел, нашел! Скорее все сюда. *(Бросается к эозинирующей машине.)* Поднимайте ее. Осторожно! Осторожно! *(Берется вместе с Фредом, рабочим и безработным и переносит ее к дверям склада, устанавливая хоботом в узкое окошко двери.)* Я знаю ее. При длинной струе и при высоком напряжении она может свалить и слона. Все шупо задохнутся как крысы. Ну, начали! *(Нажимает изо всех сил рычажок машины.)* Фред, посмотри, много ли осталось эозина в баллонах? *(Смотрит в окошко.)* Сколько синей говядины! Они не ожидали такого сюрприза. Эта машина — получше всякого пулемета. Они валятся, как ошпаренные кипятком мухи. *(Отходит от окошка.)* Фред, не изменяй хода машины. Наблюдай из окошка, что они будут делать. А мы опять возьмемся за ящики.

Вместе с 3-м рабочим и 3-м безработным возвращаются к ящикам и принимаются снова за работу. Входят 1-й рабочий и 1-й безработный и группа очень плохо одетых мужчин, женщин и детей. Безработные организуют ручной конвейер и таким образом выгаскивают ящики с беконом из склада. Бекона становится все меньше и меньше.

Фред *(отворачиваясь от окошка)*. Майкл, там какой-то смешной старикашка машет белым платком и убеждает шуцманов пропустить его в склад.

Майкл *(иронически)*. Может быть они решили сдаться на милость победителей. Может быть они посылают парламентеров. Серьезно. Во всяком случае стоит пропустить его сюда. *(Угрожающе)* Но если хоть один полицейский двинется с места — пускай машину на полный ход.

Фред останавливает струю эозинатора, приоткрывает немного дверь склада. В склад влетает профессор Галлер.

Галлер *(в невероятном возбуждении)*. Голубчики вы мои! Милые вы мои! Да ведь вы новую эру науки здесь открываете. Господи! А я-то и не догадывался, что мой эозин превосходно действует на человеческие организмы. И как еще действует!.. Господи, да ведь какую премию я получу теперь от военного министерства! Подумать страшно!.. Господи!

Подбегает к эозинатору и пытается схватить рычаг.

Майкл *(набрасываясь на Галлера сзади)*. Ну, ну, руками не прикасаться!

Отталкивает Галлера. Тем временем безработные успели вынести из склада почти весь бекон.

Майкл *(обращаясь к безработным)*. А теперь — скрывайтесь, товарищи. Я задержу на время полицию. *(К Фреду)* И ты, Фред, уходи. Нет никакого смысла попадать в лапы шуцманов... Ну, а теперь можно уничтожить эту дьявольскую штуку. Пусть лучше она не достается полиции.

Подкладывает взрывной патрон под эозинатор, наспех. Зажигает фитиль. Поспешно убегает. Томительная минутная пауза. Затем — оглушительный взрыв. Эозинатор разлетается на мелкие кусочки. Из дверей склада настороженно высовывается голова усатого шуцмана).

Издательство ЦК ВКП(б) „Правда". Сектор „Комсомольская правда".
Отв. редактор А. Поневежский.
Зав. редакцией И. Бражнин. Руководитель оформлением и технич. частью журнала М. Лоскутов

Ленгорлит № 37761. 14⅜ л. Сл.-ф. 72 × 110 Тираж 50.000. Печ. л. — 4. Заказ 5535.
Сдан в производство 1-III. Подписан к печати 27-III.

Тип. им. Володарского, Ленинград, Фонтанка 57

ИНТЕРНАЦИОНАЛ МОЛОДЕЖИ

Орган ИК КИМ и ЦК ВЛКСМ

Двухнедельный журнал интернационального воспитания молодежи и международного юношеского движения

Рассчитан на широкие массы комсомольского актива

ИНТЕРНАЦИОНАЛ МОЛОДЕЖИ

— Дает руководящие статьи по вопросам международного революционного движения и политических событий.

— Ставит, освещает и дискуссирует проблемы международного юношеского и детского движения.

— Помогает местным комсомольским организациям обмениваться своим опытом интернационального воспитания трудящейся молодежи.

— Освещает методику интернациональной работы и дает консультацию по всем вопросам интернационального воспитания и связи.

— Дает на своих страницах очерки и повести, отражающие в художественной форме жизнь и борьбу зарубежной комсомолии.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ МОЛОДЕЖИ

Ежемесячный орган ИК КИМ и ЦК ВЛКСМ

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 1 мес.—50 коп., на 3 мес.—1 р. 50 к., на 6 мес.—3 р., на 12 мес.—6 р.

Цена отдельного номера—25 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВКП(б) „ПРАВДА", СЕКТОР „КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА"

БОРЬБА МИРОВ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Два мира. Две силы. Отмирающий капитализм и социалистическая система. Капиталистические страны охвачены жесточайшим кризисом. Закрываются фабрики и заводы, лопаются банки, идут с молотка разорившиеся крестьянские хозяйства. Рабочие среди изобилия, созданного их руками, умирают с голода. Социалистическая система не знает кризиса. Каждый день вступают в строй все новые и новые заводы, растут новые города. Главная и основная задача журнала **„Борьба миров"** — показать во весь рост эти две системы, показать революционную борьбу рабочих в капиталистических странах и участие в этой борьбе зарубежного комсомола.

Латвийские палачи убили комсомольца Гедриса. Умирая, Гедрис сказал: „Убьют нас, но разве можно убить комсомол! За нами идут другие. С каждым днем нас все больше и больше. Наши силы растут".

Зарубежный комсомол, несмотря на жесточайший террор, ведет героическую революционную борьбу. Наша задача — показать зарубежный комсомол, его рост, его работу, его борьбу, его победы.

Журнал **„Борьба миров"** должен показать две техники, рассказать о нашем враге, о вооружении буржуазии, о борьбе на научном фронте.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА НА ЖУРНАЛ „БОРЬБА МИРОВ":

На 12 мес. — **5** р. **40** к., на 6 мес. — **2** р. **70** к., на 3 мес. — **1** р. **35** к., цена отдельного номера — **50** к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: всеми организаторами подписки на заводах и фабриках, во всех почтовых отделениях, письмоносцами, ячейковыми работниками по комсомольской печати и уполномоченными „Комсомольской правды".

Цена 50 коп.

Издательство ЦК ВКП(б) „ПРАВДА“

Сектор „КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА“

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КОМСОМОЛЬСКИЕ ЖУРНАЛЫ:

ЮНЫЙ КОММУНИСТ

Политико-теоретический журнал ЦК ВЛКСМ для актива

Юный коммунист

Руководящий политико-теоретический двухнедельник ЦК ВЛКСМ. Рассчитан на руководящий актив комсомола.

Юный коммунист

— Твердо борется за генеральную линию партии, мобилизуя своих читателей на борьбу с уклонами.

— Помогает комсомольскому активу теоретически осмыслить практику союзной работы, разрабатывает злободневные проблемы комсомольского движения, связанные с вступлением СССР в период социализма, и последний этап нэпа.

— Будет разрабатывать вопросы борьбы за кадры для промышленности и сельского хозяйства, проблему кадров для 2-й пятилетки, вопросы политической, технической, военной учебы комсомола

— Освещает вопросы международного юношеского движения, задачи ИК и КИМ.

— Привлекает к работе в журнале лучшие силы актива ЦК ВЛКСМ, ИККИМ, а также Комакадемии.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 1 мес. — 50 к., на 3 мес. — 1 р. 50 к., на 6 м. — 3 р., на 12 м. — 6 р.

Цена отдельного номера — 25 коп.

СМЕНА

Литературно-художественный и общественно-политический, иллюстрированный журнал рабочей молодежи, орган ЦК и МК ВЛКСМ.

Смена

Массовый иллюстрированный, литературно-художественный и общественно-политический журнал рабочей молодежи.

Выходит 2 раза в месяц.

Смена

В 1931 году выходит в увеличенном объеме и будет оформляться лучшими художественными силами.

— Показывает в строительстве социализма лучших ударников-комсомольцев и передовую рабочую молодежь.

— Отображает классовую борьбу рабочей молодежи в капиталистических странах и колониях.

— Освещает актуальные проблемы культуры и быта всех национальных республик и областей СССР.

— Печатает лучшие рассказы, стихи и очерки пролетарских писателей и ударников, призванных в литературу.

— Будет ставить проблемы творческого метода и знакомить своего читателя с литературной политикой партии и комсомола.

— В 1932 году вводит ряд новых отделов, где будет освещать последние достижения науки, техники и искусства.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 1 м. — 50 к., на 3 м. — 1 р. 50 к., на 6 м. — 3 р., на 12 м. — 6 р.

Цена отдельного номера — 25 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

ВСЕМИ ОРГАНИЗАТОРАМИ ПОДПИСКИ НА ЗАВОДАХ и ФАБРИКАХ, ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ, ПИСЬМОНОСЦАМИ, ЯЧЕЙКОВЫМИ РАБОТНИКАМИ ПО КОМСОМОЛЬСКОЙ ПЕЧАТИ И УПОЛНОМОЧ. „КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ“